

- ▶ **ИВРИТ - ПОБЕДА СИОНИЗМА ИЛИ ЕГО ПОРАЖЕНИЕ?** – ветеран ревизионистского движения об израильской культуре
- ▶ **БРАТСТВО ГАНГСТЕРОВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ** – новый роман Сергея Каледина
- ▶ **ГРЕШНИК ИЛИ ПРАВЕДНИК?** – эссе Феликса Рахлина о поэте Борисе Чичибабине
- ▶ **БАЛКАНСКИЕ СТРАСТИ** – об этнических проблемах Югославии

22

МИЛЛИОНАМИ

112



№ 112



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СНГ В ИЗРАИЛЕ

ДВАДЦАТЬ ДВА



112

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ МИНИСТЕРСТВА АБСОРБЦИИ
И ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1999

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Сергей Каледян. Клуб студенческой песни	3
Михаил Кагарлицкий. За стеной из желтого кирпича	81
Михаил Вассерман. Сын	88
Мордехай Зарецкий. Светлее светлого	91
Рита Бальмина. Рождественское послание к ангелам	96
Вера Горт. Белым белó... О том и песнь	98

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Калман Кацнельсон. Общественный кризис в Израиле и будущее русского гетто	103
Эдуард Бормашенко. Две половинки правды	110
Владимир Ханан. Записки свежеприбывшего	114

О НЕИЗВЕСТНОМ

Константин Фрумкин. Свойства сознания и образы смерти ...	133
Бен-Барух. Свобода	153

КАРТА ЕВРОПЫ

Марэн Фрейденберг. Балканы: «Взбунтовавшаяся этничность»	161
---	-----

ОТКЛИКИ

Игорь Ачильдиев. Пятый вариант	172
Эдуард Братута. Об эротическом отражении действительности	183
А. Быховский	187

КНИГИ И ЛЮДИ

Феликс Рахлин. Грешник-праведник	190
Арье Барац. Булгаковеды и булгакоеды	208
Петр Межурицкий. Житие стиха	212
Эмilia Обухова. «Время! Я тебя миную»	216

На первой странице: Иврит – строки из ТАНАХа

На последней странице обложки: У Западной стены. К статье
Калмана Кацнельсона «Общественный кризис в Израиле»

ЛИТЕРАТУРА

Сергей Каледин

КЛУБ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПЕСНИ (Из цикла «Коридор»)

Быть или не быть? Не знаю, не бывал.

Иван Серов

1.

Посадили Ваню Серова на пятом курсе иняза за перепечатку „Архипелага“.

В лагере предложили выйти досрочно, но с условием - постучать.

Стучать не хотелось. Ванька мурыжил оперов изо всех сил, и, не добившись от него никакого толку, они сдали его солагерникам. Ночью его чуть не зарезали. Ванька башкой пробил верхнюю шконку и, чудом живой, убежал на вахту.

Потом полежал в больничке, где „испражнялся розовой мочой“.

Выпустили его все-таки досрочно, по двум третям. Ваня вернулся на родину, но не в свой Новосибирск, а в деревню поодаль. Пристроился в клубе библиотекарем, решил отсидеться в тишке.

Конечно, он писал стихи. Все-таки из культурной семьи, мать преподавала в Академгородке. И в деревне он тоже сочинял, в основном эпитафии самому себе. „Когда священник отпоеет псалом, когда меня сожгут или засыпят, когда друзья за памятным столом, не чокаясь, по первой выпьют, тогда...“ Что „тогда“ Иван так и не придумал, а вот в Литинституте, куда он на арапа послал

заупокойные стихи, эпитафии понравились. Его приняли на заочного поэта. Тогда же он второй раз перебрался в Москву, устроился пожарным в театре „Ромэн“.

Новых знаний институт не добавил, зато свел с Романом Бадрецовым, а тот познакомил Ваню со своим школьным товарищем Синяком. Синяк как-то приперся в институт и утянул обоих в шашлычную по соседству, где поведал о своей печали: не смог достать билеты на любимого певца Сальваторе Адамо. Синяк, правда, до сих пор считал, что певец - все-таки женщина, исходя из голоса, а поскольку никто не мог его опровергнуть, хотел лично убедиться в своей правоте.

Иван тогда таинственно скрылся из шашлычной. Оказалось, съездил в Лужники, добыл корешок билета и на его основе сотворил роскошные подделки - Синяку, Роману и себе. Выяснилось, что вдобавок к прочим талантам он еще и художник-документалист, достойно поднаторевший на зоне.

И снова не дотянул Иван до диплома - отыскался след Тарасов. Надыбал Ваньку ГБ. Снова попросили постучать. Ванька отказался. В Литинституте о разговоре прознали. Перестали здороваться. Одна лирическая поэтесса прилюдно плюнула ему в лицо. Ванька пошел домой и повесился, да неудачно: сорвался, сломал копчик. От позора Иван бросил институт.

Друзья поддерживали его как могли. Синяк, сам вразбивку насидевший семь лет по хулиганке, жалел интеллигентного Ивана, поил-кормил, давал денег. Роман безуспешно пытался пристроить Ванькины стихи по журналам, доставал ему переводы и внутренние рецензии.

Когда раскрутилась перестройка, Иван опубликовал в „Огоньке“ статью „Как надо и не надо стучать“. Его позвали на ТВ выступить в паре с демократическим генералом ГБ. И тот, раздухарившись, на весь эфир пообещал Ивану выдать его досье. И выдал. Оказалось, посадил Ивана сокурсник.

Потом Иван женился, родил ребенка. Кстати, женился на полуспившейся к тому времени поэтессе, некогда в него плюнувшей. Оборотясь в христианство, она раскаялась и простила ему долги его. А Ванька по слабости характера не смог отстоять даже дочку: жена придумала ей имя Николь. Иван тихо порыпался, смирился

и стал звать дочку Коля. Иногда он роптал на свою незадавшуюся судьбу, рикошетом - на жену. Тогда жена резала вены, правда, не смертельно.

Таким образом, семья была. А денег не было.

И Ваня отмочил. Он задумал разбогатеть. Занесло Ивана не куда-нибудь, а в наркобизнес. Добрые люди предложили отвезти пакетик носопыри в город Тверь. За очень хорошие бабки. Скрепя сердце, Иван повез. Потом ждал заказчика в кафе, потягивая „Шартрез“ и наблюдая, как за окном полуторный низенький бассет вступил тяжелой кривой ногой в собственное ухо - и не мог сдвинуться с места... Объезжая обескураженного песика, на мокром асфальте поскользнулась машина - врезалась в бордюр, но выскочивший шофер не только стал ругаться, но и помог уродцу освободиться. Иван от умиления даже набросал эту сцену в блокноте.

Сумка с козлячим порошком висела на спинке стула...

А дальше, как в кино: группа в камуфляже, маски, короткие автоматы, наручники...

Из ментуры, посулив начальнику вознаграждение, он позвонил домой. Жена лыка не вязала. Что отложилось в ее углу сознания, так и осталось невыясненным, но дурь поперла: она в панике выкинула в мусоропровод весь невеликий свадебный хрусталь, несколько дешевых колечек, а заодно и урну с прахом своего отца, которую третий год не могла собраться захоронить и держала в серванте.

Протрезвев, жена сообщила о звонке мужа Синяку и Роману. Синяк запряг свой „мерседес“, и друганы помчались в Тверь.

Слава Богу, менты взяли деньги. Ивана выпустили, угрюмого и вшивого. Синяк хотел выписать ему бабаху на память прямо у ментовки, но тот был такой зачуханный, запуганный, виноватый, что Синяк кару отменил. Потом поехал на разборку к заказчикам пакости и все уладил. Правда, иной раз Синяк неестественно замирал, напряженно вглядывался в друга, желая постичь, как того угораздило ползть в н е п р а в и л ь н о е. Пишешь стихи и пиши. Тоже, мне, наркобарон колумбийский!

...Сегодня Иван ждал гостей отмечать двадцатилетие своего

освобождения из лагеря. Надо было также узнать, от чего на сей раз собрался помирать Роман. Дело в том, что Иван многократно спасал Ромку. Жирный был мнителен и постоянно находил в себе разные опасные болезни – инфаркт, рак, СПИД... Недавно вдруг обнаружил под ребром лишнюю кость. Торчит и все. Роман, лишившись сна и аппетита, до тех пор подозрительно прощупывал себя, пока Ванька не притащил из библиотеки медицинский атлас и не продемонстрировал на себе, худом, что кость никакая не лишняя, а – обычное ребро, недозабранное в грудину, как и задумано по конструкции.

Ожидая гостей, Иван подстригал бахрому на облохматившихся любимых джинсах – обновлял гардероб.

Первым объявился Роман. Принес джин „Бифитер“ и банку килек – любимый харч Синяка. Ванька отложил стрижку штанов, молча предъявил такую же банку и такой же джин.

- Сосуды у нас в мозгах очень сообщающиеся, – с удовольствием поставил диагноз Роман.

- Кстати, о сосудах, – встрепенулся Иван, – какую опять заразу в нутрах нащупал?

- Эх, Ваня, Ваня, – покачал головой Роман, – я тебе сонник добыл для перевода – забочусь о твоей жизнедеятельности, а ты насмешничаешь над моими недугами. – Роман протянул другу потрепанную брошюрку.

Иван полистал ее.

- С английского?.. А-а, французского. Пойдет. Благодарствуйте.

Тут Роман заметил у нерелигиозного Ивана перстень с изображением лика Христова. Он потянулся к нему.

- Чего-чего это у тебя?.. Пальчик покажь...

- Шолом, козлы! – в комнату вломился Вовка Синяк. – Кто дверь не запер, Жирный?

- Жирного не замай, – вступился за Романа Иван. – Жирный болен.

- Чем? – радостно поинтересовался Синяк.

- Панкреотитом.

- Чего ты врешь! Панкреотит у оленей на рогах растет.

Иван, незаметно сдернув перстень, заботливо полюбопытствовал:

- Вовик, ты килечку, часом, не запамятовал?

- Обижа-аешь!.. - Синяк расплылся в белоснежной улыбке и достал из кейса джин и каспийские кильки.

- А зубки где взял?! - удивился Роман. - У тебя их сроду не было.

- Почему? Сначала были, спроси у мамы. Потом прошли со временем.

Роман задрал Синяку губу. Тот недовольно мотнул башкой.

- Чего ты мне в новую пасть руки поганые суешь!..

Висюля на конце косы больно ударила Романа по носу.

С недавних пор Синяк для изменения имиджа завел новую прическу. Содрал он ее у американского актера Стивена Сигала. Но с косой он стал больше похож не на супермена, а на немолодую мужеподобную индейскую женщину. Чтобы коса не висела без толку, к ее концу он привесил бронзовый амулет - кулак, и теперь, когда оппонент раздражал его, резко поворачивался, и клиент как бы невзначай получал по физиономии.

- Столом бы лучше занялся. Где салатики, - капризно спросил Синяк. - Где приклад, где харч?

- Салатики отпали, - не развивая тему, вздохнул Роман, рассматривая потревоженный нос в зеркале.

- Бухая, что ль? - сморщился Синяк.

- Она отдыхает, у нее вечером всеобщая, - потупившись, защитил жену Иван.

Синяк, разом поскучнев, завалился на тахту, выбив из нее пыль, и ткнулся в раскрытый на кроссворде журнал.

- Жирный, из чего у меня шапка зимняя?

- Из нутрия.

- Не подходит. Четыре буквы надо.

- Тогда - нутр, - подсказал Ванька, вскрывая кильку.

- Или выдр, - уточнил Роман, отворачивая джину голову.

- Нутр годится, - кивнул Синяк, утомленно закрывая журнал и потягиваясь. - В Германию пора ехать, а права ушли... По утренней росе, по весеннему бризу... Иван, нарисуй права, будь человеком...

Иван растерянно обзирал праздничную снедь на письменном столе: три штофа с джином и три банки билек. Чего-то не то. Он почесал нахмуренный лоб.

- Сделай права... - канючил Синяк.

Иван обернулся.

- Чего?.. Какие еще права?.. Сколько можно? Поди да купи.

Синяк перекинулся на Романа.

- Жирный, у тебя двое прав, сам говорил, поделись с товарищем. А Ванька их малёк подправит.

Роман полез в карман, достал права и кинул Синяку. Иван перехватил их на лету, вбил в глаз черную лупу и циклопьем оком впился в документ.

- Мня... Тушь старая... волины много... сироп надо готовить. - Он вырвал увеличительный кляп из глаза. - Тебе когда ехать-то надо?

- Чем поздней, тем хуже, - проворчал Синяк. - А то - обнищал вконец.

- Тогда пойду сахар варить.

И Ваня вышел из комнаты.

Синяк включил телевизор - шла реклама женского белья.

- Кстати, Жирный, надо мне свою половую жизнь упорядочить. У тебя тетки приличной нет на примете?

Реклама кончилась.

- Надо подумать, - сказал Роман, забираясь на велотренажер „Кеттлер“.

Синяк выключил телевизор и, чтобы не мешать Роману думать, снова уткнулся в кроссворд.

- Современный прозаик? - пробубнил он. - Восемь букв.

- Бадрецов, - предложил Роман, нажимая на педали. - Хм, откуда у Ваньки „Кеттлер“?.. Дорогая вещь...

- Слышь, Жирный, - Синяк заворочался на тахте, - Бадрецов подходит, только с нутром не согласуется...

- Зачем Ваньке тренажер?.. - бормотал свое Роман. - Надо отобрать.

Роман с детства боролся с жиром всеми возможными способами, но ненавистные боковины над задом - „жопьи ушки“, за которые его всю жизнь щипал Синяк, не рассасывались. Роман установил рычагом самую тугую тягу и даванул сопротивляющиеся педали.

Синяк остался недоволен его действиями.

- Жирный, ты кончай ехать, ты информацию гони. Насчет бабуина.

Роман изнеможенно откинулся назад, отпустив руль, как велогонщик на финише.

- Тпру-у... Дама есть. Красивая... Длинноногая... Первый муж арап. Второй англичанин...

- Детки?

- Одно. В Кувейте. - Роман слез с тренажера, вытер локтем запотевшее седло. - Дама нуждается в помощи... Силовой.

Синяк на тахте засопел, заерзал, достал электронную записную книжку. И, плохо попадая толстым пальцем, стал тыкать кнопки.

- Давай телефон. Даму беру... Помощь окажу.

Иван на кухне ждал, пока поспеет чайник. В кастрюле кипятились белые труссы. В углу под раковиной, забитой грязной посудой, в стеклянной с одной стороны клетке маялся варан Зяма, размером с кошку. Колька сидела на корточках и дразнила маленького ящера. Варан стоял, прижавшись к стеклу чешуйчатым боком, и нервно подрагивал.

- Папа, Зяма шипит.

Варан в подтверждение ударил хвостом по стеклу. Иван вздрогнул, выключил чайник, помешал деревянной скалкой труссы, насыпал в кружку сахар и залил кипятком.

- Николай, оставь реликт в покое, - пробормотал он. - Твое дело труссы варить.

Активно педагогировать после позорной истории с наркобизнесом Иван стыдился. Помешивая в кружке сахар, он вернулся в комнату.

Роман после велоезда полуголый лежал на тахте, обмахиваясь журналом.

- Рома... - Иван замер со своей кружкой, подыскивая сравнение, - ты похож на немолодую бородатую лысеющую одалиску. Такую, знаешь... на любителя. С грудями... Типа - профорг борделя... Кстати, не забудь завтра же подать заявку, что права потерял. А то Синяка тормознут в Германии, проверят права на компьютере - и сидеть тебе, Ромочка, не пересидеть. А скажешь: потерял, и сидеть будет только один Синяк.

- Точно, - кивнул Синяк.

Роман отложил журнал и надел рубашку.

- Иван, ты человек худой и бедный, зачем тебе „Кеттлер“? Я же, напротив, человек состоятельный и полный. Отдай его мне.

Ванька опешил, молча пожевал губами, осваивая предложенную логику, уселся за письменный стол и равнодушно произнес:

- Забирай... Вообще-то это подарок... забирай.

Потом пригнул к столу пружинчатую шею сильной лампы, раскрыл права, выбрал тоненькую кисточку, окунул в горячий сироп, отжал волоски и тихонько потянул прозрачную паутину по фамилии „Бадрцов“.

- Каждую бу-у-ковку надо прописывать... - сладострастно ворожил он, высунув от усердия язык. - Вот та-ак...

Синяк оторвался от кроссворда.

- Жирный, мне гараж на две персоны предлагают. Соединиться не желаешь?

- А могилы тебе на две персоны не предлагают? - усмехнулся Роман, заботливо натягивая клеенчатый чехол на обретенный „Кеттлер“.

- Теперь подсушить... - колдовал Иван, покусывая пригнутый языком ко рту ус. Обычно, когда он творил - рисовал или сочинял стихи, свободной рукой вязал бесконечные крохотные узелки в своей роскошной шевелюре великовозрастного инфанта, которые потом с трудом на ощупь выстригал. Иван обернулся к Синяку. - Фотографию давай.

Синяк засопел недовольно.

- Где я тебе в субботу фотку возьму?

Иван медленно поднял на него глаза, ничего не сказал, повернулся к Роману.

- Рома, будь за старшего. В метро есть моменталка. Проследи, чтобы этот придурок глазки держал открытыми.

Иваново предостережение было не случайным. Веки Синяка были татуированы со времен первой юношеской ходки двумя краткими, но емкими словами: „Не буди“.

Роман послушно снялся с тахты.

- Собирайся, чучело, - ласково похлопал он Синяка по плечу.

- И купите чего-нибудь к столу, - вдогонку им крикнул Иван.

Проводив друзей, Иван принес из-под ванны, где погнил микроклимат, две майонезные баночки с замотанными марлей горлышками. На баночках были наклеены этикетки – „муравьи голодные“, „муравьи сытые“. Раздвижной рамочкой он выгородил промазанного сиропом „Бадрецова Романа Львовича“ со всеми прилегающими подробностями, развязал марлю на голодных муравьях, осторожно вытряхнул цепких мурашей внутрь рамочки и карандашом довыскреб особо прилипчивых.

Муравьи разбрелись по тексту. Не лесные, барственные, с тугими обливными пузиками, а крохотные, псивенькие, мелочевка насекомая. Они учуяли сахар, заерзали, выстраиваясь чередой по сладкому следу, и принялись за работу...

У Ивана оказался вынужденный перерыв. Он со вкусом потянулся, вспоминая о своей судьбе, о том, что жена пьяная в соседней комнате, что они с дочкой не жрамши с утра и сочинил стих в одну строку, даже не один стих, несколько. „Люблю поесть. Особенно – съестное“. „Нет, весь я не умру и не просите“. „О смысле жизни: никакого смысла“.

...Друзья принесли готовых харчей. Роман, чтобы не отвлекать Ивана, взялся сервировать пол возле тахты на газетах „Экстра-М“. Синяк втихаря подсасывал джин прямо из горлышка.

Иван сосредоточенно следил за муравьями, изредка подгоняя остро заточенным карандашом нерадивых:

- Вместе с сиропом и тушь выгрызут и покакают одновременно.

- Синяк, булькнув алкоголем, взроптал мокрым голосом:

- Какать, может, не надо?

- Ты чем там, чадушко, хлюпаешь? – обернулся на внеплановый бульк Иван.

- Зачем какать? – недовольно спросил Синяк.

- Чтоб тушь не расплывалась. Не нагнетай алкоголь загодя. Жирному лучше пособи.

Синяк сделал обманчивое движение – будто с тахты, но Роман придержал его: сиди, не нужен.

Чтобы порыв не был пустопорожним, Синяк прихватил с пола лепесток ветчины.

- Рассказывай, Жирный, – приказал он. – Развлекай.

- У меня во Франции книга вышла, - похвалился Роман. - Летом поеду...

- Опять он свое, - скорчил рожу Синяк, - что же вы по-человечески базлать не можете, все про книги!.. Кстати, Жирный, моя крестная психиатром в отсталой школе для дураков работает. Говорит, твоя книга про меня у питомцев настольная...

- Рома, а где же фото? - раздраженным на всякий случай голосом рассеянно спросил Иван. - Фоту сделали?..

Роман протянул ему фотографию.

- Да-а... - задумчиво произнес Иван. - Такое лицо может любить только мама. Хорошо, косы не видно. Скажут, гермафродит.

- Кого? - насторожился Синяк.

Наконец муравьи закончили свою работу. Ванька загнал их в „сытую“ банку. Достал батарейку „Крона“. От батарейки тянулись два проводочка, оканчивающиеся обнаженными жальцами. Он легонько совокупил проводки - стрельнула искорка. Ванька снова вбил в глаз черный цилиндр и еле заметными движениями начал подковыривать искрящимися электродиками недовыеденные фрагменты текста.

- Потом проварить в щавелевой кислоте, подстарить... - бормотал он и, заканчивая свою ворожбу, со стоном разогнулся.

- Наливаю, Иван? - нетерпеливо спросил Роман.

- Не ломай традицию, - напомнил Синяк. - Пусть Иван сначала стих зачет.

- Можно, - кивнул мастер и заговорил давнишними своими тюремными стихами, которыми в свое время, еще в шашлычной, при первом знакомстве, навсегда покорила Синяка.

- „Значит время прощаться, коль вышло все так, как все вышло. Повторите, маэстро, - пусть звуки заменят слова, только скрипку печальней, оркестр - потише, чуть слышно, только тему надежды - пунктиром, намеком, едва...“

- Ну, быть добру! - провозгласил Синяк тост. - Шолом, козлы! Пили старательно. За двадцать лет Ванькиной свободы, за новые зубы Синяка, за книгу Жирного, вышедшую в далекой Франции, за дружбу, за любовь...

Когда наступил перекур, Иван, лениво ковыряясь в зубах, вяло поинтересовался:

- Рома, за кого ты нашего Вовика сватаешь? Она окрашена в обручальный цвет? Прошу подробности.

- Даму зовут Александра, - сдержанно сообщил Роман. - Правда, Михеевна. - И смолк.

- Что-то ты подозрительно немногословен, - заметил Иван. - Не со своего ли плеча?.. Инцест грядет?

- Дама - коллега, - уклонился от вопроса Роман. - Коммерческий зам Сикина. Генерального директора нашего КСП. - И продолжил: - Инцест отчасти есть. Плюсквамперфект.

- Кого? - нахмурился Синяк.

- Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой... - перевел Ваня.

- Да она еще за такое чмо и не пойдет, - набивая цену, сказал Роман.

- Ладно вам дуру гнать, - оскорбился Синяк, - я для вашей Михеевны волшебный принц из детской сказки.

А Иван озадачился другим.

- Как директора фамилия, говоришь? - спросил он, извлекая из кильки нежный хребет.

- Директора?.. Сикин, - удивился любопытству Ивана Роман.

- Юрий Владимирович Сикин. А чего ты весь набряк, как золотушный?..

Ванька медленно облизнул губы.

- Сикин, говоришь? - проглотив помеху в горле, выдавил он.

- И ты его знаешь? - удивился Роман. - Сочувствую.

- Юру Сикина я знаю хорошо, - медленно, чуть не по складам произнес Ваня. - Языки вместе учили иностранные... Юра Сикин меня посадил.

2.

Юрий Владимирович вошел, как всегда, несколько смущенный. Саша не стала дознаваться, с чего это начальник заявился в рабочий день да еще в такую рань - обычно он приезжал к ней на буднях, - и отправилась в ванную.

Встала под душ, по привычке глянула в зеркало.

Губы и веки она делала еще в Англии: пять лет без забот - ни

подводить, ни красить. Открыла рот: зубы плотно пригнаны друг к другу, без единой червоточки, пломбы беленькие, незаметные... Грудь? Грудь, как грудь, с учетом возраста. Ноги? Ну, ноги - ее гордость.

Заранее морщась, Саша повернулась к зеркалу боком и привычно вздохнула. На границе попы и спины выделялся лоскут кожи, не соответствующий общему покрову. Это отец ее, пятилетнюю, в родном городе Холуе ошпарил пойлом для поросенка.

По случаю выходного дня Саша вставила бирюзовые контактные линзы вместо зеленых повседневных, благоуханная впорхнула в комнату, красиво скинула кимоно... Но... Юрий Владимирович не лежал где ему полагалось, а сидел согбенно за обеденным столом в очках на шнурочке, насупленный, обремененный раздумьями, похожий на немолодого дурака. Однако!.. Саша подняла кимоно, встряхнула у начальника перед носом, как бы сбивая пыль, на самом же деле отрясала сексуальный налет ситуации, теперь уже абсолютно исключенный.

Юрий Владимирович очнулся, заданно потянулся к возлюбленной, но возлюбленная - коммерческий директор КСП - Клуба Свободных Писателей - Александра Михеевна Джабар решительно отвела его руку, надела кимоно и ушла на кухню готовить завтрак.

Юрий Владимирович от роду был крупный, высокий мальчик, но имел некрасивую фамилию Сикин, что очень мешало ему в юности жить. Пять букв, а сколько слез! Из-за ненавистной фамилии Юра пошел в бокс. Но там было больно. По дороге с бокса его перехватил гребной тренер и увлек в гулкий бассейн, где в неподвижной лодке дырявыми веслами усталые гребцы черпали вонючую воду. В секции был недобор.

К концу года он нагреб на первый разряд, а через два „мастер спорта“ помог ему при поступлении в Иняз.

В институте Юра заинтересовался религией, в смысле продаж икон. Его пригласили в деканат, после чего увлечение религией прошло. В деканате ему посоветовали активнее интересоваться студенческой жизнью.

Проклятую фамилию он свел-таки позже псевдонимом „Суров“, когда вступал в Союз Писателей, для чего перевел три поэмы

греческого коммуниста. Мечтал он быть дипломатом, разведчиком, а стал поэтом-переводчиком, литератором, короче говоря, никем. Но документы ему удалось переименовать на „Сурова“. Не-красивая фамилия осталась только в узких сплетнях. Еще был у Сикина маленький аккуратный женский носик, который покрывался капельками пота после принятия алкоголя. Поэтому Сикин старался вообще не пить и всегда был трезв.

...Тахта все еще была призывно расстелена. Юрий Владимирович решительно снял пиджак и туфли, чуть менее решительно расстегнул брюки... Но жена ждет овощей с рынка, дочке обещал пойти на собачью площадку...

Саша залила сваренные яйца холодной водой, доставила на поднос забытую соль и понесла завтрак в комнату.

Муж ей не нужен. В Англии есть один, хватит. Мужик ей нужен, да основательный, не трус, не зануда, желательно с деньгами. Желательно сексуальный. А с Юрой не секс, – гробовое рыдание, деловой-половой очень тщательный акт. Саша прекрасно осознавала, что того, что ей требуется, практически не бывает. А значит, меньше требований, Александра, а то так со своими капризами и запросами не заметишь, как выстаришься напрочь...

Юрий Владимирович виновато принял у нее поднос, попытался улыбнуться, но улыбка получилась недоделанная. Он за гребень снял вязанного петушка с насиженного теплого яичка, колупнул макушку, но почать яичко не пришлось – под окном истошно завыл автомобиль.

- Сигнализация, – виновато и частично обрадованно, что все разрешается само собой, пробормотал Суров, натягивая пиджак.

- Днем постараюсь...

- Новую сигнализацию поставь, на дерьме сэкономишь, – как можно спокойнее, задавливая раздражение, посоветовала Саша, и добавила, отворачиваясь: - Днем я занята.

Юрий Владимирович так печально, так униженно поинтересовался, чем, что Саша, брезгливо, – ну, какой с таким секс! – пояснила сквозь зубы:

- Бадрецов обещал своего товарища сегодня прислать, крутого. Поедем негров выселять.

- Дай Бог, – виновато вздохнул Суров, делая жалостливое лицо.

- Уходи, Юра, - попросила Саша, боясь, что если начальник задержится, ее вырвет.

Год назад она сдала свою новую, только что купленную, квартиру неграм, а теперь вот никак не могла их выгнать. И вынуждена теперь снимать чужую халупу. А негры тем временем и квартиру загадили, и телефон им за неуплату сняли. И управы на них нет - с детьми милиция на улицу не выгоняет. Да баба еще дополнительно рожать намылилась, сучара!..

От грустных размышлений ее оторвал звонок в дверь. Юра забыл очки.

Он их так близоруко искал, хотя они лежали на видном месте, что Саша смягчилась.

- Юра, а чего ты приходил-то?.. По делу?..

- Да, понимаешь... - забормотал Суков. - На автоответчике слова...

- Ну? Чего там?

- „Сикин, не ходи тропой Моисея, вспомни лучше Ванюшу Серова“, - потупившись, проговорил Суков.

- Что за ахинея! - поморщилась Саша. - Кто такой Сикин?

- Н-не ахинея... - И Суков, слегка заикаясь и подвирая, рассказал, что в принципе он вообще-то Сикин.

3.

Абд эль Джабар, первый муж Саши, не стал тогда тянуть, не хочешь быть второй женой, уезжай. Аллах с тобой. Он произнес три раза традиционное бракоразводное заклинание „Этлак, этлак, этлак“, что по-нашему означает „пошла вон“. Оформление не заняло много времени. Саша выправила визу, получила деньги со счета, собрала украшения и упаковала приданое - лаковые шкатулки из родимого города Холуя, где ее сестра и по сей день работала на фабрике миниатюр.

Дочка Фируз оставалась в Кувейте с отцом и пятнадцатилетней чернокожей мачехой, новой женой Алика. Фатима была из бедной семьи потомственного суданского феллаха, девушка ласковая и спокойная. Она поклялась на Коране быть маленькой Фируз вместо матери и попыталась еще раз отговорить Сашу разводиться. Саша

настолько ей доверяла, что рассказала про роман с англичанином – преподавателем английского из „Бритиш каунсел“; у англичанина кончается контракт в Кувейте, и он хочет на Саше жениться. Фатима все поняла, будто и не мусульманка.

Перед отъездом в Англию Саша внимательно обозрела теперь уже бывшего мужа. И едва удержалась от хохота. В бабском га-лабеи до пят, похожем на ночную рубашку, да еще если учесть, что под ним желтые до колен трусы и футболка... И это тот самый граф Жофрей из „Анжелики“, что смутил когда-то ее девичий покой!.. Футболист! Институт из-за него бросила!.. Отец тогда предупредил: „Гляди, Шурка, морду чадрой обмотают, дальше гор ничего не увидишь!..“ Жофре-ей!..

Оказалось, простой араб. Инвалид. Чурка, короче. Про ногу хромую все наврал. Не на войне сломал, а по пьянке, на мотоцикле. Кстати, и пьют они, несмотря на религию, будь здоров, только втихаря.

Какая там война, он палец порежет, весь трясется. Гра-аф!..

Абд эль Джабар стоял перед ней и сосредоточенно плевался. Был Рамадан, и бывший муж во время поста усиленно демонстрировал свою правоверность: не только воды не пьет, даже слюни не глотает. Тьфу!

Но до последнего момента Саша хотела, чтобы все было по-культурному, цивилизованно, даже по-родственному впрок наставляла Фатиму, чтобы та не употребляла розового масла. Ведь Алик привык к европейскому парфюму.

Если бы он не распоясался напоследок, все бы прошло спокойно. Развелись и уехала. Но тот на прощание все-таки подгадил. Заявил, что Саша в самом начале была не совсем девица. На что возмущенная Саша напомнила ему мудрость из Корана: „Обвинять целомудренных могут только распутники“. Это сказал Аллах в передаче Фатимы, которая была на ее стороне.

От себя же лично Саша пообещала, что если еще раз прозвучит незаслуженное обвинение, она заявит в шариатский суд. Хоть она и не мусульманка, но и Кувейт, слава Богу, не Саудовская Аравия. Ее выслушают, примут во внимание триппер, который Алик привез из Бейрута, куда ездил с друзьями блядовать и о котором по трусости проболтался Саше; изучат пустой флакон

из-под антибиотиков, трусы со следами болезни, которые Саша припрятала на всякий случай, и Абд эль Джабар получит по жопе за оговор. Жалко, что в переносном смысле. Кувейтцев палками не бьют во дворе шариатского суда, что на улице Эль-Халидж. А наказать его в пользу поруганной жены на пару тысяч динар, чтобы не повадно было, могут запросто.

Но оговаривать больше бывшую жену Алику не пришлось, ибо Саша улетела в английский город Брайтон, где ее ждал будущий муж Билл. Уильям Макбрейн.

* * *

Но Англия обернулась не той Великобританией, которую предполагала увидеть Сашенька.

Трехкомнатная квартирка в два неудобных этажа громко скрипела каждой половицей. Кухня внизу выходила в узкий, кишочкой, садик, обнесенный сплошным некрашенным забором. На задах садика две запущенные грядки, покосившийся сарайчик, куст шиповника, по-бабьи повязанный красным платком, и пень, лохматый от перезревших опят. По утрам в соседнем дворике психопатическая немецкая овчарка, завывая, обгрызала кору почти уже засохшего дуба. Рыжая кошка в зеленом ошейнике паслась на стриженном колючем газоне.

Мебель в доме была хоть и мягкая, но старая, обитая потертым, расплзающимся гобеленом; менять ее Билл категорически отказался - наследственная. Одним словом, не закайфуешь... А впрочем, малость ты завралась, Александра. Был кайф и немалый! И окна прямо на море. И абажуры старинные из травленого шелка; и бытовая техника вплоть до вделанной в раковину дробилки, превращающей все отходы в жидкое месиво, без засора утекающее в слив. А зайцы поутру в садике!.. Серые пушистые бугорки, лениво перебирающиеся с места на место...

А этот рыболов!.. Мужик в плаще каждое утро возле их дома ловил на трехкрючковую мормышку полуметровых непугливых лососей. Саше из окна второго этажа были видны темные, неестественно быстро перемещающиеся косяки рыб, и она подсказывала, куда кинуть снасть. Рыболов кивал ей: „Сенькью“ и дарил лучшее из улова.

И главное - по утрам ее нога не натыкалась в постели на кри-вую полосатую ногу в бабьем трико. Да и не это главное. Главное: Билл ей ни разу не сказал слова „нет“, как будто такого слова не было вообще. Любое несогласие он предварял тихим „может быть...“ Ну, не говоря о том, что подавал пальто, открывал перед ней дверь, вставал, когда она входила.

Да-а.. Он открывал дверь, подавал пальто, вставал, когда Саша входила, а в ней тем временем нарастало раздражение на Билла. И на то, что он - шотландец, обижался, когда Саша называла его англичанином. И на то, что раз в месяц регулярно навещал родителей в Глазго, с городостью привозя оттуда местные шотландские фунты с изображенным на них угрюмым мужиком, которые не принимали в магазинах Брайтона. Бесило ее теперь и то, что в Эль-Кувейте очаровывало: как Билл подает левую руку для руко-пожатий вместо правой, загадочно не поясняя причину такой под-мены. Да, многое, многое ее теперь раздражало.

И преувеличенно толстый „Паркер“, и очки-половинки, и плащ поверх пальто в плохую погоду...

Вечерами хорошо одетый нищий с потушенной сигарой во рту неспешно копошился с фонариком в мусорном баке. Саша гово-рила с ним за жизнь. За его жизнь, за свою, за дочки Фируз. Про дочку она говорила размыто. Нищий слушал, не переставая палочкой ковыряться в ящике, кивал понимающе, молча, на самом деле не понимал, что леди имеет сказать.

А леди имела сказать.

Пару лет Билл исправно шел после работы домой. Он препо-давал английский на подготовительных курсах университета. Обед, садик, телевизор... А на третьем году стал возвращаться преимуще-ственно через паб, как правило, пьяный, почище мужиков в родном Холуе. И уж совсем не похожий на Шерлока Холмса с трубкой, каким казался ей в Эль-Кувейте.

Сашенька пыталась завести себе недостающего ребеночка, но при помощи Билла тот не заводился. Вскоре выяснилось, что причина пьянства мужа еще в этом. Саша пошла работать пере-водчицей.

Одна группа состояла из писателей и их жен. Писатели рвались поглазеть на проституток, которые в благонравном Брайтоне не

водились. Жены донимали магазинами. Сопровождал группу Юрий Владимирович. Он был без жены, в глаза не заглядывал, был внимателен. Нанял машину и отдельно от группы свозил Сашу в усадьбу писателя Киплинга, который сочинил „Маугли“. Вокруг усадьбы на промытых изумрудных полях серыми валунами лежали толстые овцы. Возле водяной мельницы, которую писатель завел у себя в поместье, неспешно сновали бурые крысы, похожие изда- лека на уток. А вблизи и вправду: у запруды лежали утки, а между ними бродили ленивые, спокойные крысы. Никто из посетителей их не гонял.

В промежутках между туристами Саша скучала по дому, дому в Холуе, хотя она старалась всегда избегать некрасивого названия малой родины, заменяя его на „город в Ивановской области“. Еще скучала по дочке.

Как-то, ошалев от скуки и унылого пьянства Билла, Саша решила попросить помощи у Бога. Каково же было ее изумление, когда в Нью-Касли, где должна была находиться по справочнику „ортодокс черч“, на фронтоне здания рядом с православным крестом протянула в небо семипалую растопыренную ладонь еврейская менора.

Выяснилось, что денег на содержание храма не хватало ни у евреев, ни у православных (а англичанам было наплевать на тех и на других), и потому для экономии они объединились и служили через раз. Один уик-энд очередь православных, следующий - иудеев. В таком храме искать заступничества у Бога Саша не решилась.

Одинокими нетопленными вечерами она подолгу стояла на кухне у горки с приданым - расписными лаковыми шкатулками. Пышногровые кони, раскинув в стороны оскаленные запаленные головы, мчали по заснеженным просторам сани; круглолицые румяные одинаковые девушки с белозубыми чубатыми парнями катались с горок на салазках... И никакого изменения в ее жизни не пред- виделось.

Не хотелось Саше согласиться с тем, что жизнь ее кончилась, и она плакала.

И в эту печальную пору случился очередной заезд Юрия Влади- мировича. Узнав, что сестра Саши работает в Холуе на фабрике

миниатюр начальником ОТК, он предложил поторговать здесь в Брайтоне шкатулками. Тем более, что вскоре будет международный театральный фестиваль, и директором назначен его знакомый.

Перед фестивалем Суров привез из России первую партию шкатулок с едва уловимым браком. Директор фестиваля отвел им в Культурном центре подходящее место под ларек. Наторговали знатно. Барыш разделили по-честному. Третью часть - сестре в Холуй.

Жизнь у Саши пошла веселее. Скоро она купила машину, а через год открыла маленький магазинчик. Кроме шкатулок Юрий Владимирович привозил и другую русскую национальную ерунду. Все наладилось. Скорее бы только дочка приехала - они вместе съездят в Россию.

...И вот, наконец, появилась Фируз. Яркая, модная по-европейски и по-восточному отводящая глаза от мало знакомой женщины, своей матери.

Вечером Саша поднялась к ней наверх. Фируз стояла, держа в руках Коран. Саша что-то вякнула насчет обеда-ужина, но та жестом попросила ее выйти. Больше Саша старалась не влезать в жизнь дочери и не смущать ее нелепыми разговорами о поездке на далекую русскую родину.

А через некоторое время ночью пьяный Билл назвал Сашу „Фируз“. И сама ситуация, и голос не предполагали случайную оговорку.

На следующий день муж довольно спокойно подтвердил высказанное ею опасение. Фируз же вежливо извинилась перед матерью, сославшись на женскую восточную покорность.

Саша стала думать, что делать. Наверное, надо было покончить с собой. Но этого Саше не хотелось. Затевать второй развод? Какой смысл? А почему собственно, у человека не может быть две жены? У Алика, Абд эль Джабара, например, по рассказам Фируз, в настоящий момент три. Разумеется, не годится, что Саша с Фируз - мать и дочь. А впрочем, почему не годится? Коран это, конечно, запрещает, так ведь его для чурок и писали. А здесь - Европа.

Все бы ничего, но уж очень Саше хотелось наказать Билла, изменить ему, уравновесить ситуацию. Она даже стала присматриваться с этой целью к изящному директору фестиваля, но он, как выяснилось, был не по этому делу.

Но тут снова появился Суров, и проблема разрешилась сама собой...

Суров был на седьмом небе, клялся в вечной любви, обещал, обещал, обещал...

Билл, побаиваясь огласки отношений с Фируз, против Сашиной сепаратной жизни ничего не имел.

Таким образом, Саша утвердилась в своей неотразимости, в которой за время семейной жизни успела засомневаться. Утвердиться-то утвердилась, но кайфа особого не словила.

На животноводческом языке такое недопокрытие называлось пробным, а недоуестественный бычок - пробником. Его применяли, чтобы возбудить достойную, темпераментную корову перед основным осеменением. Дома, на ферме, где Саша летом подрабатывала в старших классах скотницей, пробникам во время пробы подвязывали фартук с противозачаточной целью. На ферме этот процесс выглядел очень смешным. Здесь в Брайтоне, с Юрием Владимировичем, к сожалению, - тоже.

Тем не менее Суров помог Саше купить квартиру в Москве, устроил к себе на работу заместителем.

Магазинчик в Брайтоне вполне мог функционировать и без хозяйки: уже два года в помощницах у Саши состояла очень толковая сестра Юрия Владимировича, выехавшая из России на не приметном индусе-англичанине, инженере по лифтам.

4.

Обещанный Романом Бадрецовым крутой подняться к Саше поленился - просто погудел снизу машиной, „мерседесом“.

Саша спустилась, села в машину.

- Саша, - представилась она.

Крутой небрежно кивнул. Он оказался малосимпатичным. Огромный, морда бандитская, пухлая, на шее цепь с крестом, сзади коса. Крутой повернулся, Саша заметила на его веках недо-

вытравленную татуировку „Не буди“. Ничего себе дружок у писателя!

- Четвертая форсунка текет, - пробурчал он, заводя машину. Голос грубый, похмельный, корявый. Зачем она с ним связалась? Мотор заработал, двигатель застучал равно, как маленький трактор. В салоне запахло соляжкой. Значит, дизель. У нее в Брайтоне тоже была „школа“-дизелек, так тархтела.

Синяк почесался спиной о спинку кресла.

- С бодуна спина кружится и глаза чешутся.

- Почесать? - спросила Саша.

Синяк вида не подал, но про себя отметил: отменное бабло. Еще когда из подъезда выходила, он ее уже оценил. Вся пойдет по люксу. Ноги достойные, длинные, с едва уловимой кривизной, в которую даже не хотелось верить, - так классно было все вместе взятое. И высокая - не по возрасту: в их поколении таких длинных не было. Конечно, не школьница, а на кой ему малолетка, пузыри пускать?

- Противно, - проворчал он, симулируя невнимание. - Капают и капают с утра... Противно...

Саша отметила, что понравилась бугаю, и он порет ахиною, стараясь быть поглубже, покруче, понезависимей. А куда ты денешься, дружок, мы еще посмотрим, кто кого...

- Надо медную шайбочку отожженную подложить под форсунку, - посоветовала Саша и констатировала по взгляду Синяка, что достала. - Только закручивать с небольшим усилием, чтобы не порвать металл...

Бугай протянул к ней лапищу.

- Володя... Вова... Синяк.

- Дамам руки не суют, - улыбнулась Саша, набирая обороты. Забрало козла крапчатого. - А я думала, вы убитый. - Саша только что долистала автобиографическую повесть Романа, где фигурировал герой под фамилией Синяк, и в подтверждение привела на память последние слова из книги - „Открыть гроб полковник Синяк не разрешил“. В гробу... вы?

Синяк кивнул с удовольствием.

- Я. Жирный, паразит, меня всю дорогу то замочит, то оживит. Он достал из-под сиденья тапки, снял туфли - носок о каблук,

переобулся. Все это не останавливаясь, не снижая скорость и не глядя под ноги.

- Специально обувь приобрел в связи визита к вам... Полу-ботинки. Жмут в мысах. Выкину - и весь сказ до копейки.

- Не надо выкидывать. Намочить носок спиртом, поносить - и нет проблем.

Синяк хмыкнул. Саша ему все больше нравилась. Надо ее в горизонтальное положение побыстрее уложить. Жирный, сволочь, знал, что дарит.

- Куда едем? - спросил он поглубже, чтобы не разомлеть.

Саша назвала адрес. Синяк притормозил у ближайшего автомата, вылез из машины в мягких стариковских тапочках. Не успел он поговорить и отъехать метров сто, на животе у него запыкал пейджер. Он отщипнул приборчик, протянул Саше.

- Глянь, очки лень обувать.

- А почему не мобильный? - спросила Саша.

- По нему базлать надо, а этот - молча.

- „Базар дошел. Будем в двенадцать“, - прочитала вслух Саша.

* * *

Синяк позвонил в нужную квартиру. Глазок зашевелился.

- Кто там?

- Домофоны ставим, - сказал Синяк грубовато, по-простому.

- Не вызывали, - отозвалась дверь визгливым бабьим голосом.

- Оргкомитет района домофоны монтирует. В связи криминальной обстановки и близости к вокзалам. Постановление магистрата мэрии столицы.

Саша, приоткрыв рот, с интересом слушала ахинею.

Дверь не сразу, но отворилась. На пороге стояла эффектная крашенная блондинка. Увидела Сашу и хотела закрыть дверь, но куда там - Синяк вставил в щель здоровенное копыто в тапке.

- Я милицию вызову! - взвизгнула блондинка.

- Зови, - кивнул Синяк.

Он отодвинул ее в сторону и шагнул в квартиру. У тапочек были заломлены задники.

- Вы бы уж лучше босиком, - брезгливо вякнула блондинка, чтобы скрыть обеспокоенность.

- Босиком зябко, можно ноги простудить. - Синяк обернулся и внимательно обозрел женщину. - А слух был, что дело к родинам. А визуально - голяк на базе. Когда рожать будем, хозяйка?

- А вам какое дело! - огрызнулась дама, потуже запахивая короткий халатик. Она повернулась к Саше. - Я же вам русским языком сказала, будут деньги - заплатим. Разве не ясно?

- Да-а... Круто... - Синяк сделал вид, что опешил. - Придется брать за яйца и производить поворот в прогрессивную сторону. Иначе никак.

- Что-о? - теперь уже опешила блондинка.

И Саша тоже.

Синяк зашел на кухню, уселся на изувеченный мягкий стул из гарнитура, перетянутый широким скочем. Стул под ним закричал, намереваясь развалиться. Синяк спешно пересел на табурет.

- Мня, - сказал Синяк, снял кепку и принялся расплетать косу, по-бабьи - на плече. - Приболел стульчик... Так было, Александра Михеевна?.. Молчим и плачем?.. Значит, не было.

Саша не плакала, хотя без слез смотреть на разор, учиненный в любимой квартирке, ей было тяжело.

Синяк отцепил от косы бронзовый амулет - кулачок, и перетянул конец косы аптечной резинкой.

- ...Таракашек развели, - он, улыбаясь, сощелкнул с кухонного стола неторопливое насекомое. - Это правильно. Без домашних животных скукота и сердцу ошуды. Значит, хозяйка, съезжать с хаты категорически не хочешь и башлять не жаждешь. Тогда отдыхай. А то бы - ехала в Африку, там нынче тепло... - Тут Синяк запнулся - в кухню вошел здоровенный негр в „Адидасе“.

- Кстати, про Африку, - продолжил Синяк, уставясь воспаленными с похмелья глазами на негра. - Мы когда в пустыне работали, реки поворачивали, мы ослов рабочими оформляли: Иванов, Петров, Сидоров. Потом продали, деньги пропили. Сидоров, правда, сдох. У вас как фамилие?

Саша не попевала за трепом Синяка, но нагнетаемую этим трепом угрозу ощущала буквально кожей. Наверное, что-то похожее почувствовал и негр, он побледнел.

- Уходите отсюда, - негромко сказал он.

Синяк стянул с крючка кухонное полотенце, обтер шею. Потом

достал из нагрудного кармана торчащую как карандаш сигару, обрезал ей прямо на столе конец, закурил.

- Утром еду за Михеевной, а на дороге прям мертвый труп лежит. Чего лежит без толку, не знаешь? - он вытянул перед собой растопыренные ладони. Указательный палец на правой руке был короче и порос на торце черными волосами вперед. - И руки у меня дрожат. Крупноразмашистый тремор верхних конечностей. Синдром Корсакова. Не пей вина, сколько раз себе говорил. Все без толку. И палец у меня короче нужного. А почему? А потому. Оторвался при разборке вооруженной. В больнице пришили на грудак. Месяц ходил как Сталин. Ни пописать толком, ни зашнурковаться. Потом отрезали от груди - гибче стал, но с волосами...

„Всерьез или бред?“ - подумала Саша, услышав, как напряжение в ней спадает. Не зря про него Роман повесть написал.

- Чего говорю, - продолжал Синяк, стряхивая пепел с сигары в чашку с кофе. - ...У меня друган, Ванька, разумеется, стихи слагает порой. В одну строку. К примеру: „Я не люблю, когда меня не любят“.

В кухню тем временем вбежал очаровательный голый негритенок лет пяти, сандаловая статуэтка, хотя нет, слишком вонькая, должно быть, прямо с горшка. Он подбежал к Синяку и стал отчаянно молотить его по колену черным кулачком.

- Покупаю! - заорал Синяк, подхватывая негритенка на руки.

Блондинка рванула сына к себе. На втором рывке Синяк отпустил ребенка - мамаша с дитем в руках отлетела к холодильнику. Негр шагнул вперед. Синяк даже не пошевелился, только лапой помахал.

- Но пассаран! Без рук!

И тут раздался звонок в дверь.

- Ну вот, - удовлетворенно пробурчал, подымаясь, Синяк, - а ты говоришь. - Хотя никто ничего не говорил, только поскуливал испуганный негритенок.

Синяк открыл дверь. В переднюю вошли двое одинаковых парней: короткие кожаные куртки, широкие штаны, черные вязаные шапочки.

Парни прошли следом за ним, как бы выдавливая негра с семейством из сразу ставшего тесным пространства кухни. Попили

кофе, сказали „спасибо“, чашки опустили в раковину. Встали и молча вышли из кухни.

- Посиди тут, - сказал Синяк Саше, сам же пошел за парнями.

- Где ваш муж, мадам? - спросил Синяк, и Саша не узнала его голоса.

В прихожей стало тихо, видимо, Синяк с парнями вошли в комнату. Саша на цыпочках пробралась в пустую переднюю.

- Ты русский язык понимаешь? - чеканил за дверью вопросы Синяк. - Слух, зрение в порядке? Тогда слушай. Ты должен деньги! Ты понял?!

Из комнаты выскочила ошавевшая от страха блондинка. По лицу ее, размывая макияж, текли слезы. Она рванулась к Саше.

- Я знаю, кто это... - прикрыв ладонью дрожащий рот, доверительно прошептала она. - Они выбивают деньги...

- Угу, - улыбнулась Саша. - Выбивают.

Дверь в комнату была приоткрыта. Саша заглянула внутрь.

Синяк стоял вплотную к негру. Они были одного роста, только Синяк в полтора раза шире. Парни скромно расположились за Синяком, расставив ноги и одинаково сложив руки на причинном месте.

- Слушай внимательно, - сказал Синяк, стряхивая с плеча негра несуществующие соринки. - Ты идешь во двор. Звонишь. Если через час деньги не будут, ты поедешь с ними. Покататься. Ты понял, любезнейший?

Синяк протянул руку в сторону, как хирург. Один из парней вложил в нее жетон.

- На разговор тебе десять минут. Вперед! Время пошло!

Негр исчез. Синяк с помощниками расположились на ковре, достали карты. Блондинка с ребенком заперлась в ванной.

Саша вошла в комнату.

- А если милиция?

Синяк улыбнулся.

- В вашей квартире ваши друзья...

Негр прибежал скоро. Он с размаху сунулся в комнату, открыл было рот, но Синяк, не оборачиваясь, - в зеркало платяного шкафа еле заметно погрозил ему укороченным пальцем: жди.

Когда доиграли партию и собрали карты с ковра, Синяк кивнул негру: рассказывай.

- Деньги будут. Уже везут...

Синяк задумался.

- Ладно, братцы, свободны. - И повернулся к негру: - Документы давай. Паспорт...

Негр протянул паспорт Синяку, Синяк передал парням.

- А паспорт мадам? Свидетельство о браке? Метрика пацана, ключи от машины, права, техпаспорт? Ребятам покажешь, где машина стоит.

Парни попрощались и вместе с негром ушли.

Через час в квартире появился директор фирмы, где работал негр, и кто-то из посольских, чернокожий. Саша начала было что-то объяснять по-английски, но директор сразу, без глупостей достал бумажник.

- Две тысячи? - уточнил он.

- Речь шла о четырех, - мягко поправил Синяк. - Издержки, знаете ли, помощники...

- Знаю, - кивнул директор, - но у меня только две.

- На две можно расписку. Сутки на добор, - разрешил Синяк.

- Кстати... А где мадам?

Появилась блондинка.

- Знаете, красавица, почему отключен ваш телефон? - спросил Синяк.

- За неуплату междугородных разговоров... - пробормотала, запинаясь, она.

- Правильно, - кивнул Синяк, улыбаясь. - За разговоры. Только не междугородные. Вот справочка из телефонного узла. Муженек ваш, мадам, вот этот, темной ноченькой звонил специальной суксуальной барышне и под ее аккомпанемент надрочил в кредит две тысячи баксов.

- Может, это не он? - пролепетала блондинка.

Синяк погладил негритенку по курчавой голове.

- Тогда он.

КСП - Клуб Свободных Писателей - открылся несколько лет назад на бульваре в центре Москвы в помещении бывшего альма-наха „Поззия“. Вместе с помещением Клубу Свободных Писателей достался и Суров, многие годы проработавший в покойной „Поззии“. На двери его кабинета теперь висела табличка: „Всемирная организация писателей. Московская штаб-квартира КСП. Генеральный директор Суров Ю.В.“

По международному уставу ему полагался чин исполнительного секретаря, но когда Юрий Владимирович заказывал себе визитные карточки, в текст вкралась ошибка, и должность была завышена. Исправлять ошибку не посчитали нужным - суетно и накладно.

Зарубежные коллеги, по примеру которых был организован КСП, презентовали „субару“, ту самую, с капризной сигнализацией, на которой Суров ездил на работу, иногда с утренней остановкой у Саши; также подарили поддержанную оргтехнику.

Секретарь французского отделения КСП, горбатенький старичок, привез в подарок медикаменты, в основном, просроченные поливитамины.

Задач у Клуба было две. Первая - обмениваться творческим опытом со своими и зарубежными коллегами; вторая же - если кого-нибудь из пишущей братии прищучат власти, всем миром вступаться.

Опытом члены Клуба обменивались по-прежнему, без посредников, самостоятельно. Инакомыслие же в России прекратилось в связи с учреждением демократии. Для малородуктивной правозащиты остались только коллеги из ближнего, главным образом, юго-восточного зарубежья. Но интерес КСП к чужим делам закономерно раздражал и центровую власть и местную, а также отвлекал от главного - полноценных международных общений: конгрессов, симпозиумов, круглых столов... Эта сфера деятельности Сурова удачно смыкалась с его бизнесом в Англии, в чем ему весьма помогало высокое международное положение Клуба.

Все бы ничего, да был в биографии Сурова один прокол. В августе девяности первого он явился на работу в черном торжественном костюме с галстуком посмотреть по служебному телеviso-

ру любимый балет „Лебединое озеро“. Весь облик его в тот день дышал подъемом и воодушевлением.

Этим обстоятельством позднее его частенько донимал Роман Бадрецов. Суров для успокоения определил Бадрецова на очередную халяву с творческой группой в Бухарест, но неблагодарный Бадрецов хоть в Бухарест и съездил, угодив в тамошний вытрезвитель с какой-то бабой, но подкалывать его не прекратил.

...На ночь Суров принял снотворное, и нехорошие мысли о злополучном сообщении автоответчика к утру растворились. Теперь все казалось просто.

Значит, Ванька жив. И телефон узнал, не поленился. Вот откуда про „Тропу Моисея“ ему известно? А впрочем: если Иван жив, наверняка трется по журналам, издательствам, вполне мог узнать и про поездку членов КСП по библейским местам. И вся загадка. Наплевать и забыть.

Выглядел Суров сегодня отменно: в черных кожаных штанах, в роскошно-скромной ковбойке, с шелковым фуляром на шее. Крепкое его туловище было оплетено желтой портупеей, сводившейся слева под мышку в кобуру газового пистолета.

Он просматривал список отбывающих в пустыню поэтов, небрежно положив ноги на тумбочку письменного стола. Списки составлял он сам, утверждать избранных должен был по уставу Исполком КСП. Исполком и будет утверждать, но уже после мероприятия, задним числом. Постфактум. Так удобнее.

Ощущение власти над судьбой визгливых поэтов - кого включить в поездку, кого погодить - грело душу. У него начался обычный в таких случаях прилив настроения.

Он был в кабинете один, когда туда без стука вломился огромный детина полубабьего вида с седой косой, в кожаной куртке, зеленом пиджаке, в тапочках и комбинированной кепке. Детина, не снимая кепки, почесал под ней темя.

- КСП тут? Джабар пришел?

Чувство страха накатило на Сикина позже, пока же он, не снимая ног с тумбочки, процедил, не поднимая глаз:

- Александра Михеевна Джабар на рабочем месте в своем кабинете. Стучаться надо...

- Пасть закрой, - сказал детина, - кишки простудишь.

Коричневые туфли Сикина медленно переместились на пол. Он приоткрыл рот в нехорошей догадке...

- Соображаешь, - улыбнулся Синяк, развально усаживаясь в кресле. - Это я звонил, насчет Ивана.

Сикин встал, почему-то опустив руки по швам.

Синяк обзрел его, сосредоточив внимание на кобуре, привязанной к Сикину сырмятными путами.

- Ну, ты прям как памятник Высоцкому на Ваганькове. - Синяк откусил кончик сигары и выплюнул на пол. Сикин независимым от себя движением придвинул к нему пепельницу. - Обвязался весь...

Сикин похолодел. Он почувствовал, как кишки предательски забормотали, кожа на лице стянулась и запульсировала, зачесалось плечо под ремнем. Все это время, что функционировал шкатулочный бизнес в Англии под прикрытием КСП, он ждал наезда рэкета. Но детина, кажется, был хуже рэкетира...

- В следующий раз, - продолжал Синяк, небрежно разглядывая кабинет, завешанный фотографиями Сикина с именитыми товарищами, - как меня завидишь, сразу стреляйся газом из своей пистолы. И маленький совет: пора, мой друг, пора с вещами на выход. Засиделся в девках. Забей себе: твое место у параша, в связи того, что был ты дятел-стукачок, а теперь ты вечный Птица-Пенис. Пенис-петушок. Повтори.

Сикин послушно пожевал губами веленые Синяком слова.

- Ну, будь здоров, петушила, - улыбнулся Синяк, выкарабкиваясь из низкого неудобного кресла. Он подошел к двери, но решил еще покуражиться. - Между нами, эта кобура - говно.

Синяк задрал над мощным задом куртку и постучал себя по рукоятке пистолета в кобуре, заткнутого за пояс на прищепке.

- И ножки на стол не ложи. Будь проще - люди потянутся.

Закрыв за посетителем дверь на ключ, Сикин с тоской подошел к окну. Конечно, „мерседес“. И пистолет у него наверняка не газовый. Он достал из холодильника бутылку виски и отхлебнул прямо из горла.

За дверью слышались разнополюе голоса. Форсированные,

избыточные, театральные. Как они обрыдли ему еще за те годы, что обретался в альманахе „Поэзия“.

Сикин отстегнул все еще дрожащими руками газовую упряжь, намотал ремни на кобуру и уложил оружие в расшифрованный кейс. Кинул в рот жевательную резинку, через силу улыбнулся в зеркало и отворил дверь.

Сегодня должны были обсуждаться организационные вопросы поездки „Тропа Моисея“.

* * *

Саша смотрела на компьютере последний концерт Мадонны. Певица была не очень молодой, не очень фигуристой, с перекаченными мышцами ног, вульгарная вся от и до! Ни кожи, ни рожи, а на тебе!..

- Я на минуточку... - в кабинет впорхнула запыхавшаяся пожилая дама в тяжелых украшениях. - Это вам презентик маленький, - заворковала она, выставляя на письменный стол шампанское и разноцветные мыльца. - Что за голяшку вы смотрите?..

Саша молча выключила компьютер. Не хотела она с этой жирной курицей обсуждать звезду.

- Молодость, молодость... - воркуя, дама полной рукой заколебала воздух, нагнетая густую волну приторных духов. Саша чихнула. - Вы не поверите, Сашенька, у меня в ваши годы были дивные ноги... Но не буду мешать, не буду мешать... Вы на собрание пойдете?

- Пойду, - мрачно ответила Саша.

- Куда? - поинтересовался Синяк с порога, пропуская даму с ногами. - Постой-ка. - Он подошел к Саше, взял ее за уши и внимательно уставился ей в глаза. - Или меня негры твои сглазили или собственными силами рехнулся: почему зеленые? Были голу-бые.

Саша поворотом головы выпростала уши из рук Синяка и отколупнула контактную линзу, под ней глаз был карий. Она посмотрела на Синяка разноцветными глазами.

- Доволен?

- Та-ак... А на Октябрьские красные вставь - коммунак пугать... Сикина, к примеру...

Саша насторожилась при упоминании секретной фамилии начальника, но разговор перебил маленький вальяжный человечек с трубкой. Не углубляясь в кабинет, он хорошо поставленным голосом произнес, откидывая голову назад, чтобы было слышно в коридоре:

- Хочу напомнить, мое оформление в Цюрих только через депутатский зал!

Саша брезгливо порылась в папке на столе.

- Да, готовы ваши бумаги.

Крошка недовольно взял документы, вернулся на исходную позицию и, дождавшись, когда в коридоре послышались шаги, повторил медным голосом:

- Только через депутатский зал. - И, не торопясь, вышел.

- Матерый человечеще, - усмехнулся Синяк.

В кабинет просочился звон колокольчика. Саша встала.

- Пойду, собрание. Ты на хозяйстве.

Синяк заметно огорчился:

- Особо не расслаживайся. Скажи, чтоб побыстрей.

- Скажу. - Саша включила ему Мадонну, на которую была похожа, чтобы Синяк за время собрания ее не забыл.

Даже сквозь стены кабинета Синяк видел, как Саша вышагивает по коридору, старательно виляя бедрами и зазывно цокая модными каблуками.

Он выскочил в коридор.

- Потом к Жирному поедем! - крикнул он вдогонку.

Саша обернулась.

- Поглядим.

А из приоткрытой двери уже бубнил знакомый Синяку голос Сикина:

- Итак, дорогие друзья, мы отправляемся тропой Моисея... Я буду вашим Моисеем все предстоящие две недели...

Дверь за Сашей закрылась.

Не понравилось Синяку, что Сикин уже оправился и, вишь ты, даже шутит. Едет, стало быть, генеральный секретарь, хотя велено было дома сидеть.

Синяк вернулся в Сашин кабинет, развалился на ее вертящемся стуле. И закурил, чего хотел, не сигару вонючую „Портогас“, понто-

вую, блажь травяную, не сигареты с нипелем, а нормальный „Беломор“, любимый с детства.

А Мадонна тем временем вытворяла невесть что. Синяк не мог понять одного: как она поет, пляшет, акробатикой крутится - все одновременно и не запыхается.

Зазвонил телефон. Синяк не обращал внимания. Но телефон зудел очень настойчиво и как-то не по-русски. Синяк лихорадочно стал искать на клавиатуре компьютера кнопку выключения звука. Не нашел.

- Чего?! - заревел он в телефон. - Говорите!

Голос, писклявый, бабий верещал вроде на татарском, а может, на азербайджанском смахивал. Мяукающий какой-то голос.

- По-русски говори. Не слышу! В смысле: не въезжаю!..

Он снова потыкал кнопки компьютера и неожиданно вырубил все. На экране поползла, переплетаясь, музыкальная геометрия.

Голос в телефоне перешел на европейский, на французский, наверное, явный гундос слышался.

„Джабар“, разобрал Синяк, „Фируз“, и заперезживал, что нагрубил вначале.

- Виноват! - заорал он. - Джабар на собрании... - Он заскреб лбину, вспоминая чего-нибудь немецкое, все-таки в Германию часто ездит... - Ихь ферштее ниht. Ауф видерзеен. Попозже перезвоните.

Закончив разговор, Синяк тщетно пытался отыскать Мадонну всеми клавишами, но вместо этого по телевизоруплыли космические разноцветные фигуры.

Сидеть без толку надоело. Он вышел в коридор. Навстречу ему шел улыбающийся высокий красавец из кино про „Доктора Живаго“, которое он смотрел на видеке у Романа. Омар Шариф, точно!

- Сал-лом, дорогой! - очень уважительно сказал Омар Шариф, прикладывая руку к сердцу.

Он был в белом пиджаке с подвернутыми на один раз до синей подкладки рукавами. На тонком запястье правой руки болталась цепочка. В распахнутом вороте рубашки - тоже цепура, на конце которой колыхался золотой полумесяц со звездой.

- Здорово, - кивнул, слегка оторопев, Синяк.

- Скажи, дорогой, где красавица Александра?

- Собрание у ней. Козлов пасет. Скоро кончит.

Омар Шариф взглянул на дорогие часы. Синяку он нравился, а чем, Синяк не мог понять. Вроде по прикиду на пидора смахивает, но не пидор, это точно. Просто очень красивый мужик. И запах он него не пидорный. Богатый, красивый мужик. Может, писатель. И вдруг его нехорошо осенило: муж ее первый!

- Ты не из Кувейта? - непохожим на свой, робковатым голосом предположил Синяк.

- Зачем Кувейт? - улыбнулся Омар Шариф. - Очень Средняя Азия, дорогой. Самолет летит скоро. Жена ждет. Дети ждут. Аллах торопит...

- Так ты не из Кувейта? - Синяк радостно перевел дух. - Выпить будешь? У меня в „мерсе“ коньяк, виски... Тебе можно по религии?

- Нужно! - воскликнул красавец. - Аллах запретил сок виноградной лозы, про виски ничего не сказал. Забыл, наверное.

И только тут Синяк заметил, что с одной стороны у красавца нет уха. Хм, отморозил? Синяк затащил его в Сашин кабинет. Про ухо не спросил, стеснялся.

- Ты пока Мадонну включи, я ее вырубил, а назад не найду. - Синяк разозлился на себя, что так невнятно объясняет нерусскому. - Короче, пела баба, нет бабы.

Нерусский все понял, ткнул кнопку и голая Мадонна, прикрытая лишь двумя крохотными тряпочками появилась на экране, с неба ей в руки спустился в дыму светящийся шест, и певица, не прекращая пения, стала виться вокруг него.

Синяк пошел за бутылкой. Возле приоткрытой двери собрания маленький депутат курил трубку. Из щели доносился страдальческий, изъеденный жизнью голос:

- ...Всю жизнь я повторял строчку великого русского стиха: „Средь сыпучих песков пирамид...“ И перед тем, как покинуть этот мир, почти напоследок, стоит взглянуть на эти пирамиды, которые переживут и нас с вами, и...

- Жирный не выстupal? - спросил Синяк депутата.

Депутат нахмурился, явно оскорбленный невежливостью вопроса и, подумав, не ответил.

- ...Моисей увел рабов в пустыню!.. - прервал выступающего вибрирующий женский голос, похожий на плач. - И там превратил в народ! Пусть писатель тоже пойдет в пустыню...

- Ну и голосок! - покачал головой Синяк. - Зарыганный. Должно, газы мучают.

Он хотел послушать еще, но не при этом же гноме важном. Чего Жирный волыну тянет? Клялся, что скинет Сикина. Что все поддержат, узнав, что тот стукач. Неужели ЭТИ - и поддержат? Синяк в этом очень и очень засомневался.

Когда он вернулся с бутылкой, депутата в коридоре уже не было. Из разноголосого толковища за дверью неожиданно выпростался высокий голос Романа:

- Други мои, господа пилигримы!.. Позвольте не по повестке... Дело в том, что наш с вами генеральный директор КСП Юрий Владимирович служил в КГБ... Мы об этом с вами догадывались...

Синяк замер и ухом к двери, хотя красавец наверняка ждал выпить.

- Полагаю и по сей день помогает Лубянской конторе... Хорошо ли это, учитывая тот непреложный факт, что КСП по существу организация правозащитная?.. Кроме того, он посадил моего товарища...

Урчащий где-то невидимый холодильник замер, рыгнул, сожрав окончание слова, вновь торопливо заработал, как бы нагоняя упущенное.

Роман не выдержал тишины, повисшей в собрании, и сам забормотал:

- Сейчас вы начнете: охота на ведьм... где справка из ГПУ?..

- З-зачем! - страдальчески заскрипел новыми металлокерамическими зубами Синяк.

- Нам не ссориться надо в это трудное для страны время, а взяться за руки, - услышал Синяк голос из зала.

- За чьи? - выкрикнул Роман. - Топтуна?

Синяк резко пнул дверь ногой. Чтобы не поддаваться соблазну войти и вмешаться.

- Что такое, дорогой? - улыбаясь, встретил его одноухий красавец. - Где лицо такое нехорошее взял?

- Не туда Жирный повез! - сказал Синяк, мрачно откручивая пробку у бутылки. - Договорились: объявит, что Сикин Ваньку посадил и - весь сказ! Без дискуссии. Без базла... - И тут Синяк примолк, пожалев, что вовлек чужого человека в свои дела. Он забулькал темно-желтой душистой прекрасной жижей в подставленный бокал. И сразу подобрел.

- А где ты ухо забыл? Отморозил?

- Добрые люди отрезали, - красавец поднял стакан.

- Шапана? - поинтересовался Синяк, чокаясь с ним.

- Зачем шпана, - улыбнулся красавец. - Коммунисты.

- О, бляди! - воскликнул Синяк, уже влюбленный в красавца. - А чего ты им сделал?

- Смеялся.

- А-а, - протянул Синяк, хотя ничего не понял. И повторил налив. Красавец не возражал. - А слышать не мешает? - спросил Синяк.

- Лучше стало, - улыбнулся тот. - Ярче звук. Он тонкими смуглыми пальцами шевелил на столе бумагу.

- Чего ищешь? - поинтересовался Синяк, желая пособить. - Как фамилие?

- Сурали. Бошор Сурали.

Синяк на правах хозяина полез в стол - человек все-таки на самолет спешит - и нашел бумагу.

На красивом бланке КСП писатели просили президента России предоставить выдающемуся деятелю культуры Бошору Сурали политическое убежище и гражданство в России. Поэт постоянно подвергается угрозам физического уничтожения... Среди подписавших была и фамилия Романа.

Синяк пожалел, что, не разобравшись, стал грузить Бошора. Ему, видать, своих проблем выше крыши.

- Я, веришь, коммуняк, зреть не могу, - сказал Синяк, - своими бы руками душил...

- Зачем так строго? - улыбнулся Бошор. - Сами тихо уйдут.

- Пока идти будут, мы с тобой сдохнем, - проворчал Синяк.

- На все воля Аллаха. Подождем.

Синяк достал „Беломор“. Закурил и поэт. И Синяк по дыму сразу учуял: не простое курево, дурь шмалит.

- Будешь? - Бошор протянул ему благоуханный косяк. - Качество гарантирую.

- Вообще-то уже не балуюсь... - засомневался Синяк, - но - давай. За компанию и жид удавился.

- Хорошая поговорка, - оценил Бошор. - У нас тоже есть... Когда подковывают коня, ишак подставляет копыто.

- Еврей, в смысле? - недопонял что-то Синяк, ибо анаша была чересчур крепка. Он протянул папиросу назад Бошору. - Тебе если гражданство-то дадут, где жить будешь?..

- Аллаху акбар, - снова улыбнулся Бошор, и Синяк понял, что эта тема не для трепа. И чуть не вякнул: живи у меня. Полагая, что переберется к Саше. А все: виски плюс дурь. Размягчает.

- Хватит! - резко сказала Саша, входя в комнату. - Больше не могу там... Очередной скандал... Роман на Сулова бочку катит. Моча в голову ударила. Привет, Бошор. Письмо про тебя еще не отправили...

- Ничего, ничего, - замахал поэт красивыми легкими руками. - Это не срочно.

Синяк удивился: такой мужик, а чувствуется, робеет Сашки. А та чуток этим пользуется.

- Ну, твой Бадрецов!.. - покрутила головой она. - Что пьете?.. А накурили!..

Синяк открыл форточку.

- Жалко у Жирного голос не ораторский, - сказал он. - Я ему еще в школе говорил: сделай ты себе, Жирный, голос нормальный, девки давать будут...

- Да причем здесь голос! - раздраженно вытряхнула пепельницу в корзину Саша. - Вот у Миши Жванецкого тоже тембр высокий, а какой успех!

Она резким движением выключила Мадонну.

- Короче, сняли мента? - спросил Синяк.

- Да какое это играет значение! - Саша раздраженно зашарила сигареты, не нашла.

Синяк достал на выбор - сигары и „Беломор“. Саша закурила папиросу. - Стучал, не стучал... А кто, интересно знать, не стучал?.. Вон попы и то стучали... И не покаяться. Чего все к Юрке пристали?! Не пьет, не ворует, никому не мешает...

- Я не стучал, - негромко заметил Бошор, как бы про себя.

- Ну и молодец! - Саша раздраженно затоптала вонючую папиросу в пепельницу. - Сиди, радуйся...

- Тебе межгород звонил. - перебил ее Синяк. - Пискастый такой...

- Фируз! - ахнула Саша и схватилась за телефонную трубку.

Вот еще чем хороша была служба в КСП. Беспрепятственно, то есть бесплатно можно было звонить в Кувейт и в Англию.

- Салямат, - кротко поздоровалась Саша с бывшим мужем. Спокойно, уговаривала она себя, не психовать. - Позови, пожалуйста, Фируз.

Но тот занудил. Фируз заболела. Ее нет дома. Она в Англии. Абд эль Джабар всегда врал тупо, лениво, без выдумки.

- Заболела или в Англии?! - напирала Саша и, поняв, что проиграла разговор, выкрикнула прежде, чем положить трубку:

- Козел! Мудила!

- Любимые слова! - мечтательно прикрыв глаза, сказал Синяк.

- Да-а, - согласился Бошор, кивая. - Жалко, что я только вполуха могу слышать такую музыку. Кому посвящены эти прелестные звуки?

- Муженек мой бывший, - проворчала Саша.

- Счастливый человек, - вздохнул Бошор. - У нас женщины так не говорят. Скажи, друг, - обратился он к Синяку, до сих пор не зная его имени, а спросить, видимо, было не принято по восточным законам нелюбопытства. - Скажи, вам тоже пришлось немного полежать в тюрьме?

- По глазам прочел? - обрадовался Синяк, проводя обручком пальца по векам. - В ней родимой... Бошор, жди малку, не уходи, я сейчас мигом Жирного высвобожу и... Предложение имею.

- Как скажешь, дорогой, - сдержанно улыбнулся Бошор.

Синяк влез в собрание уместно. Был перекур, пили кофе. Роман сидел под пальмой, низко опустив лысоватую голову. Распухший, бордовый.

- Права человека... права человека... - монотонным скрипучим голосом повторяла женщина с низкой седой челкой.

- Жирный! - тихо позвал Синяк.

- При чем здесь права человека! - раздраженно пророкотал сзади дикторский голос, перекрывая все остаточные шумы. Синяку показалось, что включили радио. - Своего товарища...

- Он мне не товарищ! - крикнул из-под пальмы Роман.

Синяк обернулся к диктору. Тот оказался видным мужиком с роскошными усами, жидкой кожей на лице, лет шестидесяти. Он сидел на диване, между его ног была зажата палка с резной звериной головой.

- Чушь все это! - не обращая внимания на реплику Романа, продолжал усатый. - Мы собрались поездку обсудить, а не спасать страждущее человечество. Давайте продолжим, хватит пить кофе. Мне вообще решительно противен общий тон Бадрецова, это его расследование...

- Как я понимаю, Роман хочет нас взять на гоп-стоп, - раздался приятный неспешный голос. - Я против такой лагерной metody...

Синяк встрепенулся, высматривая говорящего. Оказался пожилой усталый дядька с лицом активно выпивающего. Вроде бы свой, и нос перебит, и курит по-родственному, в кулак, а поди ж ты - туда же, с козлами вместе!..

- А я - за, - тихо прошелестел ветхий старик с бледной лысиной и огромным насморочным носом. - Обвинение основательное.

Сикин молча обносил присутствующих кофе. Синяка он не видел.

Дама с дивными ногами придержала Сикина за руку, когда он передавал ей чашку:

- Скажи нам, Юра! Ты работал в КГБ?

Сикин даже попятился от нелепости вопроса:

- Зачем вы так?..

- Вот она, наша черная неблагодарность! - вскричала дама. - Я предлагаю премировать Юру месячным окладом!

- Двумя - ударил диктор палкой в пол.

- Скандал будет минимум пять лет, - молитвенно прижав руки к груди, заявила пожилая астматическая блондинка со странно гладким лицом. - Надо думать о последствиях.

Давайте кончать, - сказал крошка-депутат. - А то превратимся в приснопамятный Союз писателей.

- Жирный! - крикнул Синяк и влез в зал полностью. - Из тур-

бюро, - для краткости объявил он, тыкая себя в грудь. - Насчет туризма. Узнать пожелания. Кому жарко, кому холодно, кому диет, кому прохладные клизмы...

Оскорбительного слова „клизмы“ собрание не выдержало, заволновалось, а Синяк, не останавливаясь, молол дальше.

- В пустыне места всем хватит. Как на кладбище. Значит, по пути, где шатер разобьем, где под солнышком, по ситуации. Товарищ Бадрецов, вас к телефону. Господин Сикин, продолжайте.

Синяк подошел к пальме, почти силком выволок из-под нее очумевшего Романа, одновременно отметив, что на „Сикина“ собрание не среагировало.

- Шолом, господа. У вас интим, а я не претендую. Всех благ, господин Суров.

Друзья вышли в коридор. Роман был ошалелый. Таким Синяк его давно не видел.

- Говорил, не рыпайся! - шипел Синяк. - У них же остаточный бздюм играет. Очко-то не железное. Что ты до них ласкался? Сказал и - ладушки. Смотри, набух весь, набряк... лопнешь, а мне отвечать...

- Они даже слушать про Ваньку не стали... - бормотал Роман. Они вошли в кабинет Саши.

- Салом! - воскликнул Бошор.

- Живой! - не поверил Роман, обнимая поэта. - Теперь ты мой согражданин, наконец?

- У-у... - уклончиво развел руками Бошор. - Не совсем.

- А что такое? - другим, брезгливым голосом спросил Роман, поворачиваясь к Саше.

Саша пририсовывала какой-то красотке в журнале „Семь дней“ длинные запорожские усы зеленым фломастером.

- Юрий Владимирович еще не подписал, - небрежно бросила она.

- Почему? - напряженно поинтересовался Роман. - Критические дни? - И повернулся к Бошору: - Башка болит, спасу нет! Давление, наверное.

- Вылечим, - Бошор полез в кейс. - Сейчас чайку заварим, голова будет лучше швейцарских часов работать.

Саша, не отрываясь от рисования, включила электрочайник.

Бошор насыпал из кожаной коробочки желтый грубый чай в чашку, прикрыл блюдцем.

Синяк подошел к Саше.

- Хватит рисовать. Расскажи о себе.

Саша взглянула через плечо и, убедившись, что Роман с Бошором заняты своим, включила компьютер, поерзала мышкой и застрекотала вслепую десятью пальцами. На экране монитора набивались буквы...

„Симпатичная леди, блондинка, фигура манекенщицы...“

- Покрупней сделай шрифт, - попросил Синяк, - без очков глаз нейдет.

„...желает познакомиться с интеллигентным по жизни, сексуально привлекательным обеспеченным джентльменом. Не лысым.“

- Бошор, я лысый? - Синяк нагнул голову в сторону поэта.

- Зачем так скромничать, - улыбнулся Бошор, возясь с чаем, процеживая его, переливая.

- Насчет секса врать не буду, - понизив голос, чтобы не слышал Бошор, сказал Синяк. - У Жирного спроси.

Саша медленно подняла голову и произнесла странным голосом:

- А при чем здесь?.. Вы что?..

- Не туда мысль ползет. Просто Жирный лучше может сформулировать, да, Жирный?

- Насчет чего? - спросил Роман. Он натирал виски вонючей „Звездочкой“. Бошор от запаха и процесса морщился, но молчал деликатно.

- Насчет секса я как?

- Отлично! - твердо сказал Бошор поэтическим голосом. - Рома, дорогой, чудо-чай готов. Прошу.

- А ты что делаешь, ну, по жизни? - поинтересовалась Саша. - Где работаешь?

- Я разве не говорил? - удивился Синяк. - Автомобилями торгую. Там беру. Здесь сбываю. Хочешь, тебе тачурочку подберем под цвет глаз?..

Раздался вежливый стук, и дверь открылась. Вошел тот самый старик с бледной лысиной и унылым носом, сейчас он был в шля-

пе с обвисшими полями. Это он на собрании поддержал Жирного.

- Деточка, - тяжело сказал старик Саше, - я вас умственно целую. Должен вас предупредить, я не поеду в Египет. Вы кого-нибудь вместо меня.

- А что случилось, Лазарь Иудович? - встрепенулась Саша.

- Деточка... видите ли, дело в том, что я по этическо-моральным соображениям не хочу никуда отправляться под водительством Юрия Владимировича, тем более тропой Моисея. Хотя, как вы знаете, мне это очень нужно для работы... Я вас целую, - повторил он и, поклонившись, удалился.

- Кто это? - спросил Бошор.

- Раритетный дед, - улыбнулся Роман. - Мой друган. У него в застой книжку из плана выкинули. Он пришел к директору. Достал пистолет. С войны привез. Не издашь, говорит, застрелю. У директора понос буквально. Книжку в план своей рукой вписал. Книга вышла. Вот такой дед... Отчество даже во время жидобоя не менял. Раз Иудович, значит, Иудович. Слушай, Бошор, - Роман с удивлением посмотрел в чашку. - Чем ты меня напоил? Башка-то прошла.

Бошор лишь успехнулся, а Синяк смекнул: маковая соломка, не иначе, и пальцем незаметно погрозил поэту.

- В лечебных целях, - еще раз улыбнулся тот.

- Поехали с нами, - сказал ему Синяк. - Едем к Жирному. Погуляем, отдохнем...

- Посуралим, - подмигнул Бошору Роман.

- В другой раз посуралим, - Бошор, склонив голову, прижал правую руку к сердцу. - Самолет.

- Бошор, прошу как брата, - торжественно, на восточный лад произнес Роман. - Поосторожнее, не валяй дурака. А то помрешь ненароком.

- Башку отрубят, кинут в вагон с углем, и - будешь кататься по всему Советскому Союзу, - добавил Синяк.

Бошор вяло взглянул на часы, болтавшиеся на его тонком смуглом запястье и неожиданно, как-то очень по-русски, потянулся и зевнул.

- Когда ко мне смерть придет, меня дома не будет.

„Мерседес“, чуть не обдирая бока, выбрался из узкого дворика КСП и покатил вверх по бульварам мимо памятника Крупской с развевающимся против ветра каменным подолом.

Саша сидела спереди, а Роман переживал неудачу с собранием сзади. Не в полный мах, как полчаса назад, но переживал.

- Не вздыхай, Жирный, - Синяк взглянул на него в зеркало заднего вида. - Башка не болит, значит порядок. А вообще, Жирный, тебе лучше всего цианистого кала в другой раз принять. Раз - и нет проблем. А желаешь, мы тебе негритяночку споровим для утешения?

Роман не слушал.

Синяк внимательно обозрел его, обернувшись.

- Не помрешь. Глаза горят, мозги фосфоресцируют... Александра, ты не против?

Саша думала о своем. Видел ли Суров, что она поехала с ними? Выключила ли масляный калорифер? Как вести себя с Юрой теперь, после появления в ее жизни этого чокнутого бандита, который в нее, похоже, влюбился? Да и он ей почему-то нравится... Хотя, у него, наверное, девок пол-Москвы. Знал бы он, что ей сороковник скоро... А впрочем, зачем ему это так уж знать... Дала ему понять - у них с Юрой что-то было... Подробности Синяка не интересуют. За это он ей и понравился, что нет в нем бабского любопытства.

- А? - встrepенулась она. - Ты что-то спросил?

- Значит, не против, - уверенно подытожил Синяк, сворачивая на Тверскую.

За „Елисеевским“ собралась толпа. Телеоператоры настраивали кинокамеры на окна второго этажа гостиницы „Центральная“. Подъезд был оцеплен милицией, широко забран флажками. Движение в этом месте Тверской ослабело, „мерседес“ еле тащился.

- Чего там? - поинтересовался Синяк у милиционера, приспустив окно.

- Ехай, - огрызнулся тот.

Синяк остановился.

- Ты, слышь, меня в Думе ждут, - солидно заявил он, - доклад на подкомиссии комитета прав человека и помилования...

Милицонер на всякий случай помягчал.

- Террорист ребенка захватил, бомбой грозит.

- Денег дали? - с умным видом поинтересовался Синяк.

- Думают.

- К-козлы! - с удовольствием сказал Синяк и проехал медленное место.

Из Государственной Думы выходили ухоженные озабоченные мужики с понурыми физиономиями и рассаживались по черным машинам, исподволь кидая как бы незаинтересованные взгляды на девушек в коротких юбках, кучкующихся на зябком ветру у гостиницы „Москва“.

Синяк снова приоткрыл окно и заорал наружу дурным голосом:

- Слышь, козлы-ы!.. Хочется, а низ-зя-я! По домам, пацаны!..

И - на ручную дрезину!.. Забесплатно! На хохряк!..

И дополнил текст красноречивым жестом.

Саша передернула плечами.

- Закрой окно. Холодно.

За негритяжкой для Романа Синяк поехал проторенным маршрутом. К паперти музея Ленина, где их класс принимали в пионеры. Синяка тогда за хулиганство в пионеры не взяли, и он плакал.

Синяк причалил с священному месту, хряснул ручником и вылез из машины. К нему подъехал на коляске инвалид в камуфляже. На груди у него висела табличка: „Люди добрые, помогите...“

- Дай на протез, - хрипло сказал он Синяку, не разжимая рта с воткнутой сигаретой.

- Не дам, - строго сказал Синяк. - Ты цыганам отдашь, они вашу масть держат.

- Согласен, - понуро кивнул инвалид, взялся за отполированные ободья красными распухшими руками и тихо покатил прочь.

- Стой, афган! - крикнул ему вслед Синяк, догнал и сунул двадцать тысяч. - Заначь поглубже.

Тут из мрака глубокого подъезда выскочила, как подпружиненная, мелкая бесполовая блошка, серенькая, в брючках, задрипанная, заморенная.

- Привет, Батя! Чего-то ты нас совсем забыл.

- Вас забудешь, - Синяк грубо, как мужику, пожал ей руку. - Я с твоей барышней - лица не помню - бумажник с правами потерял. На деньги плевать, права жалко.

- Совсем ты, Бать, на голову присел, - посочувствовала блошка. - Старенький стал... Тебе кого?

- Негритянку.

- А всерьез?

Синяк заговорил подробнее.

Саша уже разобралась с масляным радиатором на работе (выключила) и теперь медленно въезжала в ситуацию... Та-ак. Это проститутки!.. Только сейчас она начала смекать, к чему идет дело и беспокойно заерзала.

- Чего он хочет? - Саша подозрительно обернулась к Роману.

Роман молча пожал плечами. На беседы с ней после Бошора не тянуло.

- Таня! - крикнула тем временем блошка в темноту.

Таня оказалась русской красавицей, в годах, что порадовало Сашу, с косой, закрученной на затылке.

Прям из ансамбля „Березка“, подумал Роман. В короткой, разумеется, юбке, как положено по тутошной работе, высоких замшевых сапогах с золотыми пряжками.

Настроение у Романа приподнялось.

Синяк постучал в его окно.

- Ну как, Жирный?

Роман высунул в открытое окно кулак с оттопыренным большим пальцем.

Хозяйка, учуяв спрос, затарахтела:

- Не меньше двух сотен, Бать. Тебе отдам за полторы. Себе в ущерб работаю. У нее одна коса чего стоит!..

- Не торгуйся, не на базаре, - отрезал Синяк. - Музей Ленина все ж. Коса и у меня есть. Сто и - по краям!.. Танечка, поедете с нами за сотенку?

- Я поеду! - раздался простуженный хрипчатый голос, и с паперти прыгнула молоденькая бойкая проститутка, юбка нулевая, декольте спереди и сзади, задрогшая...

- Вали отсюда! - Таня грубо пихнула ее обеими руками в грудь.

Та оступилась, села на мокрый тротуар белыми ажурными трусами - юбка задралась.

- Не драться, девушки, - Синяк подал ей руку. - Всем всего хватит.

- Деньги в кассу... - верещала хозяйка.

По ступенькам музея Ленина чечеточной побегожкой спустился вертлявый блондин в белом костюме.

- И я мог бы составить компанию...

- Ну, ты даешь, друг! - опешил Синяк. - Я с дамой, Жирный с Таней. Куда тебя, скажи на милость?

- Мало ли, - парировал, улыбаясь, блондин, - бывает, требуется. Секс инвариантен. Пардон.

Саша нервно курила, намереваясь что-то предпринять, скорее всего даже вылезти. Она приоткрыла дверь. Синяк предупредительно рыпнулся к ней.

- Уже едем.

Он захлопнул ее дверцу и открыл заднюю перед Таней, но что-то его насторожило.

- Слышь, хозяйка, а чего она у тебя молчит всю дорогу? Не больная?

- Сам ты больной. Скажи что-нибудь, Таня, - приказала блошка.

- Здравствуйте, - улыбнулась Таня, прикрыв ладонью рот. Прореха в два зуба все-таки мелькнула.

- Слышь, хозяйка, - не унимался Синяк. - А чего она у тебя без зубов? Драчливая? Излупит в одночасье...

А Роман уже подвигался, уступая место на заднем сиденье.

Синяк важно хмыкнул - видел, что Жирный завелся, и довольный обустройством его личной жизни, солидно расплатился и залез в автомобиль.

- Ну, с Богом! Видите, Танечка, Жирный вас сразу полюбил. Да, Жирный?

Саша обернулась удостовериться, что Роман не спятил.

- Ой! - воскликнула Таня, забыв прикрыть выбитые зубы. - А я вас знаю! Мы вместе в Политехе учились, Владимирском...

- Город невест, - всунулся Синяк.

- Иваново - город невест, чучело, - поправил друга Роман, - а Владимир - „Золотое кольцо“, история...

- Да, да, правильно, - согласилась с Романом Таня, и продолжила свое: - Вы на экономическом учились, а я на технологии... За вами еще хромой араб ухаживал... красивый очень...

- Танечка белку на лету в глаз бьет! - заорал Синяк радостный, что есть общая тема. - Колись, Михеевна.

- Прекрати, - прошипела Саша, ненавидевшая свое отчество. Надо же - землячку нашла, и где!

- Я же говорил, Таня не местная. Я ее раньше здесь не видел, - вякнул Синяк и осекся. Выходит, он тут пасется. Думай, Ананий, когда болтаешь, а главное, базлай поменьше.

- Я раньше на другой точке стояла, - пояснила Таня. - На Пушкинской. А у Владимира Ильича недавно.

* * *

Наконец „мерседес“ въехал в Басманный переулок и меж задремавших троллейбусов пробрался к подъезду шестизэтажного дома, обшарпанные колонны которого поддерживали этажерку из ограмных балконов. Фары высветили медную табличку возле двери - Издательство „Ромб“.

Синяк выключил двигатель.

- Жирный здесь и живет, здесь и книжки выпускает.

- ...а дети есть у вас? - спросила Саша, вылезая из машины.

- Леночка школу кончает, - ответила Таня. - Она отличница... Ей медаль...

- А муж? - допытывалась Саша.

- Сань, может, хватит? - спросил Синяк. - Чего ты устраиваешь допрос с пристрастием? Отдохнуть хотим, оттянуться... А ты грузись.

- У меня муж... есть, - не совсем уверенно сказала Таня. - Но мы развелись. У него другая женщина, тоже с нашей фабрики. Но он меня иногда встречает на мотоцикле...

- Зубы иной раз выбивает, - не по делу влез Синяк, запирая руль на желтую клюку от угона.

Роман повертел пальцем у виска: чего несешь, от Сашки набрался? Синяк виновато пожал плечами. А Таня подкола не заметила.

- Да, - бесхитростно подтвердила она. - А как вы догадались?..
Забывает порой, что мы в разводе...

„Я пришла к тебе с приветом“, - теперь уже Синяк подмигнул Роману и незаметно повертел обручком у виска в адрес Тани.

- Угу, - кивнул Роман.

- Харч из багажника взяли, - зачистил Синяк, пытаясь замаять неловкость. - Кура, пицца, алкоголь. А хлеб? Жирный, хлеб имеешь? Имеет... Тогда вперед.

Дом, где Роман жил с нуля, почти весь уже продали. Роман держался из последних сил - новые владельцы дома вместо уютной его квартирешки, доставшейся после покойной бабушки Липы, предложили великолепную квартиру в Отрадном с видом на шлюзы, где канал шагал по ступенькам. Любимое место Романа в Москве, он его и заказывал богачам. Теперь вот и отказываться неудобно, и уезжать неохота.

В маленьком коридоре на первом этаже жил когда-то Боря Гольцман. Когда все дружно вступили в половозрелый возраст, и вопрос хаты стал пыром, Боря, пес паскудный, стал сдавать им в отсутствие родителей свою комнату почасово.

А сейчас в той же самой комнатенке, переделанной на евролад, находится кабинет главного редактора издательства „Ромб“. Не так давно Роман принес редактору автобиографическую повесть и показал место, где описывался малый Борькин бизнес со всеми пикантными подробностями. Редактор зашелся, тут же заключил с Романом договор и что самое невероятное - выдал аванс потертой деньгой в мутном целлофановом пакете с хлебными крошками.

Бабушку Липу Роман с Синяком двадцать лет назад унесли отсюда на стуле - лифт не работал. А далее - на такси в богадельню. Предварительно Липа вызвала нотариуса, и все, что у нее было, - а не было у нее ничего, - завещала с Вовкой.

В последний Липин день в палату дома престарелых зашла полоумная старуха с верхнего улетного этажа, обычно запертого, костлявая, стриженная наголо. Подошла к Липиной койке: „Давай-ка, парень, вставай! Чего-то ты совсем залежался. Застой кровя получишь“.

Роман побежал за сестрой. Когда они вернулись в палату, Липа

уже умерла. И по ее заснувшему лицу неспешно пробежал молодой таракан.

...Саша разложила на блюде зелень, овощи, нарезала брынзу.

- А давайте я греческий салат сделаю, - предложила Таня. - Я на Кипре научилась...

При слове „Кипр“ Саша насторожилась.

- Зачем? - задала она недоношенный вопрос.

- Меня мой друг возил... - слегка смущаясь, ответила Таня. - Его... убили уже.

Саша облегченно перевела дух и спокойно занялась разделыванием копченой курицы.

Синяк от безделья решил принять душ. Через короткое время влетел в комнату, мокрый, злой, но в трусах, слава Богу. Вполне мог бы и без.

- Жирный, гад, чего не сказал, что воды горячей нет?! Я запускаю - оттуда ледяная!..

Пока орал, досрочно согрелся финской клюквенной водкой и, успокоившись, теперь причесывался перед гардеробом, будто и впрямь помылся. Заодно демонстрируя себя с удовольствием дамам, главным образом Саше. Саша рассматривала его с нескрываемым интересом. Да-а, кажется, что тюфяк, а на самом-то деле весь из тугих сфер, не ущипнешь.

- Одеваться-то будем? - поинтересовался Роман. - Танечку бы постеснялся...

- Никогда не видала, чтобы пьяница так прекрасно выглядел, - пожал плечами Саша, выколупливая перед зеркалом линзы. - А если бы ты не пил?

- А мне трезвому девушки не нравятся. Извини. Косу из-за Жирного намочил всю.

- Алкоголь возбуждает секс, это правда, - неожиданно подтвердила Таня. - Даже врачи советуют.

- Ты уверена? - фыркнула Саша, окуная линзы в специальную баночку.

- А все-таки я справный парень, - проникновенным голосом, глядя на себя в зеркало, сказал Синяк. - И девушкам еще нравлюсь, да Таня?

- Да, - подтвердила Таня с удовольствием. - Такой крупный, сильный...

- Оденься, - строго сказала Саша.

Роман стоял у окна. За высоким забором фырчала труба молококомбината. Теперь она шумела не круглосуточно, как раньше, а только по четным дням. А вот диспетчеры на Казанском вокзале орали сейчас к ночи по-старому: грубо, невнятно, иногда с оттенком мата.

Синяк спустился вниз, к машине, за арбузом. И сейчас собирался вскрывать ему череп.

- Представь, что это голова Сикина, - сказал Роман и, сдергивая с велотренажера чехол, предложил Тане. - А вы покатайтесь пока, чтобы не скучать.

- У Ваньки спер, гад, - заботливо напомнил Синяк. - У бедного человека.

Таня подошла к велотренажеру, но кататься не стала - юбка коротка. Зато обнаружила за „Кеттлером“ интересную картину, выполненную прямо на стене.

По светлым грязноватым обоям на кривеньких шатких ножках целеустремленно шел по самой блядской улице Парижа Сен-Дени „беллетрист Роман Бадрецов“, помеченный заботливой стрелочкой, чтобы не ошибиться. Моросил дождь, по его озабоченному лицу текли утрированные капли, но Роман сосредоточенно топал по булыжной мостовой, задрал воротник залатанной телогрейки. Из-под мышки у него торчала папка с надписью „Вшивая рота“. А с обоих тротуаров к нему из-под прозрачных глубоких зонтов тянулись оголенные барышни всех мастей. Вот одна бросилась наперерез - негритянка с косичками.

- Вши-ва-я ро-та, - склонив голову, по складам прочитала Таня.

- Жирный у нас писа-атель, - протянул Синяк.

- Ой, а ваш роман у дочки в школе проходили, по литературе. А вас с природы писали или по памяти? - спросила Таня.

Синяк чуть не захлебнулся арбузом.

- Ну, дела-а... - протянул безнадежно Роман. - Если сходство так очевидно, надо вешаться... Или гусей пасти или вином спиться...

- Вином, Жирный не получится. Для этого мозги нужны.

Танечка, это Иван нарисовал. Он в Париже не был, но знает его наизусть, промесил в полный рост по картинкам. Талант. А вот ее начальник, - Синяк указал на Сашу, - сука-Сикин, Ванечку нашего в тюрьму посадил. И что характерно, живой ходит до сих пор...

- Юра - мой начальник и обсуждать его не желаю! - перебила его Саша.

- Ой! - воскликнула Таня, - уклоняясь от нехорошего продолжения, которому она не обязательно должна быть слушательницей. - Горит что-то!

Саша пошла на кухню.

- Надо Ваньку попросить пидора сегодняшнего пририсовать, - пытаюсь смягчить ситуацию, добавил Синяк, тыкая пальцем в настенную живопись. - Вот здесь. Как раз место есть.

- Ну зачем вы так? - негромко сказала Таня.

Саша принесла противень с подгоревшими слегка бутербродами. Роман вытащил из буфета старинное Липино блюдо.

Таня стала перекладывать бутерброды.

- Эдик балетное училище кончил... А потом спину сломал...

Синяк притянул Романа за бороду и зашептал горячо:

- У нее вольты в бегах. Не ту взяли, Жирный, гадом быть. Давай съезжу, замену, пока не задутый?

- Я тебе замену!

Роман даже замахнулся на него, и в голове у него прокрутился вопрос: а чего он, действительно так уж запал на эту беззубую полудурку. Ведь, похоже, и правда, она малость не в себе... И понял, что его так привлекает. Нераздражающее отсутствие чувства юмора. Естественное существо. Даже чересчур.

- Танечка, а что вы на Кипре забыли? - спросил он, упустив, что про Кипр все уже, вроде, выяснили.

- Ну... - замялась слегка Таня, - я уже говорила. Меня мой товарищ постоянный возил. Дружочек мой любимый. Очень красивый... Брюнет с голубыми глазами... У меня фотография есть. Хотите посмотреть? - она протянула Саше снимок.

На Сашу нагло смотрел молодой Ален Делон на русский манер, стриженный бобриком, с хамоватой ухмылкой.

- Какой неприятный, - Саша вернула фотографию.

Именно такие, хорошенькие, с наглым взором ей нравились с детства. Не волоокий полноватый красавец-араб, не сухой прокурорный пьяница Билл, не даже громила Синяк, ну и, конечно же, не Юра, которого и мужиком можно назвать лишь условно. Ее кадр – именно такой пацан.

- А это дочка. Леночка.

- Угу, – незаинтересованно сказала Саша, практически не глядя на протянутую фотографию. – Симпатичная девочка. А сколько ж ему лет?

- Кому, Игорьку?.. Двадцать четыре. Будет двадцать пять седьмого ноября.

- А тебе? – совсем уж по-хамски спросила Саша.

- Тридцать семь... Нет, тридцать восемь. Его прямо в лесу убили, еще живым...

- То есть? – не понял Роман.

- Его убили ножом, зарыли в землю, а он еще был жив, – пояснила Таня. – Он машины чужие воровал.

- Значит, на морду брал, – насторожился Синяк. – В смысле: у своих.

- Смотри, чучело, – пробормотал Роман, повернувшись к нему. – Убьют еще живым, будешь тогда знать.

- А когда его похоронили, – продолжала Таня, – у меня такой стресс плохой начался, я даже секс потеряла...

- Вольты в бегах! – вслух повторил Роман давешнее Синяково заключение. – Психиатр требуется.

- А я была, – кивнула Таня.

- Секс нашла? – поинтересовалась Саша.

- Не очень, – сказала Таня, рассматривая фотографии на стене.

На самой большой из них, цветной, рядом с парижским сюжетом резвились на свежем воздухе нудистского пляжа в Голландии бывшая жена Синяка Светка, сам Синяк и нынешний муж Светки, сорокалетний лысый студент Кристиан, приобретенный Светкой через брачную контору в Голландии. Все трое, разумеется, голые.

Как бы для уравновешивания здесь же, в уголку, кротко взирала на грешную жизнь Казанская Божья Матерь – картонная иконочка

с ладонь, завещанная Роману неверующей, почти партийной бабушкой Липой.

Напротив окна висела карта мира, где Липа в последние сумеречные годы перед богадельней, уже пошатнувшись разумом, отмечала политические события, стабильно путая Африку с Латинской Америкой.

Синяк смешил дам. Обмотал длинной укропиной сразу три кильки и, держа их за конец травинки, спустил рыбешек в распахнутую, белоснежную даже с исподу пасть, как положено, ногами вперед.

Саша нет-нет, да и поглядывала на фотографию с голой Светкой. Наконец не выдержала.

- Что за дама? - небрежно бросила она, не оборачиваясь к стене.

- Жена моя прошедшая, - не чувствуя подвоха, отозвался Синяк. - Корефанка наша с Жирным была.

- У нее фигура, как у Мадонны, - не к месту влез Роман. - Несмотря на изобилие детей.

И Саша взорвалась.

- Да у вашей Мадонны вообще никакого сложения!.. И кроме того сейчас у женщин рот важен, а у нее рот никуда!..

Таня вспомнила, видимо, про свои зубы, невольно дотронулась пальцем до воспаленной верхней губы. Чем привлекла внимание разоравшейся Саши, которая прищурилась, отерла пальцем уголки рта и, шумно втянув воздух, выпалила:

- А трудно, скажи мне, было на эту работу устроиться?

Таня промокнула губы салфеткой. Счастливый человек: уж Сашка из себя выходит, чтобы ее достать, а ей хоть бы хны, не реагирует.

- У нас одна девочка ездила в Москву... Потом нам в отделе посоветовала. Пока фабрика все равно не работает, мы в бессрочном отпуске... Нам зарплату уже год не выдают. Только пряжей или суровьем. Иногда носками...

- Интересно... - раздосадованно протянула Саша. - А техника безопасности?

- Так я же не постоянно. Я временно, пока Леночка в институт не поступит.

- А Леночка-то знает? - совсем очумела Саша.

- Я прошлым летом за двумя бабушками ходила, - сказала Таня, решив, видимо, как-то оправдаться. - Одна лежачая, другая полулежачая. Платили хорошо - двести долларов и питание. Но одна бабушка такая капризная. Я все старалась с ней пораньше управиться, чтобы сварить и постирать. А она мне: „Что это вы все спешите меня уложить, Татьяна Владимировна, я никуда не тороплюсь?“.

- Татьяна Владимировна, а давайте я вас в секретари возьму, - предложил Роман заплетающимся языком. - Стаж будет идти... Жить будете у меня... А хотите в секретари и в жены?

Саша поперхнулась дымом. Она знала, что уже два раза Роман брал себе в жены малознакомых дам в пьяном виде. По полному чину, со штампом в паспорте.

- Ты лучше закусывай, - сказала она совсем по-бабьи и тут же пожалела, уж очень это на ревность смахивает. Только еще этого не хватало, проститутку ревновать:

А Таня сосредоточилась на предложении Романа, увела взгляд вверх, что-то прикидывая.

- Сейчас я не могу, - замедленно сказала она. - Пока Леночка не поступит...

- Как-кая ты, Таня, красивая, - не совсем то выговорил нетрезвый Роман, и даже слеза навернулась у него на глаз.

- Очки надень! - бросила Саша.

- На, Жирный, - Синяк протянул Роману свои очки. - Она в очках еще даже лучше.

Роман нацепил очки, придвинулся вплотную к Тане, впервые разглядел ее возраст, но не разочаровался, а наоборот, растрогался. Даже еле заметный шрамик над бровью его умилил. И крестик не раздражал.

По реакции мужиков Саша вдруг поняла, что проигрывает. Опасная Танина бесхитрость их завораживала. И самое страшное - нравится Синяку, а это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Надо срочно менять тактику. Хватит ее подкалывать, давать ей возможность быть наивной провинциалкой.

- Таня, а как у вас в городе жизнь? - спросила Саша.

- Плохо. Воду отключили, с реки в ведрах таскаем. У нас хорошо

только бандитам и туристам. Коммунисты у власти. Они еще хуже евреев.

Роман даже малость отрезвел.

- А что вам, Танечка, евреи сделали? Нормальные ребята, только вида не показывают, - усмехнулся он.

- А Израиль - обалдеть, - вмешался Синяк. - Мы с Жирным в том году были у сына его...

- Так вы еврей? - растерялась Таня.

- Да что вы, Танечка, - вступился за друга Синяк. - Это он просто оброс, у него куделя в пейсы заворачиваются, если его обрить налысо, - он на татарина похож пожилого.

- А вы в Мертвом море купались? - заинтересовалась Таня, забыв про евреев. - Там грязь полезная на дне.

- Там нырять без толку за грязью, - сообщил Синяк. - Живая соль и нет никого, ни рыбы, ни растений...

- Ни эллина, ни иудея, - заплетающимся языком добавил Роман.

- А евреев, Танечка, я тоже не жалую, кстати, - завел Синяк любимую свою застольную тему. Без малого сорок лет подначивал он Романа по национальному вопросу. - Чего хорошего они сделали? На скрипках играть?.. Так это и у нас в саду Баумана слепые пилили, причем за бесплатно. Приходи - слушай.

- Ну, чего ты несешь, морда твоя тюремная? - с любовью произнес Роман, пересаживаясь поближе к Тане. - Тань, он в тюрьме провел детство, отрочество и юность...

- Согласен, - подтвердил Синяк, благодухный оттого, что разговор нормализовался. - Было дело. Семь лет в неволе. А Жирный меня подогревал. Пришлет открытку. „Тебе скоро двадцать пять лет. Ты должен стать умным“.

Я открыточку раздеру - там четвертак. Хотя Жирный бедный был - ходил в тециных трусах на босу ногу. - И пихнул Романа: - Болтай дальше, Жирный, гони пургу, развлекай дам.

- Тебя кто от сифилиса лечил? - невинно поинтересовался Роман, и сам ответил: - Наш добрый доктор Вассерман.

Саша слегка подалась в сторону от Синяка.

Сифилис был чем-то новеньким в их репертуаре, Синяк заржал.

- Да врет он все, не журишь, - он притянул Сашу на место.

Саша тем не менее вырвалась, пепел, отросший на сигарете, накренился, готовый рухнуть на скатерть.

Синяк пододвинул к ней пепельницу:

- Сбрызни.

- ...а подохнешь, - благодушествовал Рома, наливая себе виски, - под чью музыку тебя понесут? Под нашу, под Мендельсона...

- Гляди, Жирный, напьешься, секс с Таней не найдешь. Кстати, упряждаю, если я раньше тебя кони брошу, меня только в бледном гробу хоронить, а то засунете в красный... коммуначий.

А Саша тем временем лихорадочно, чтобы не отстать от разговора, доила память. Вроде Мендельсон не погребальное?... Вроде он свадебное писал?.. Что у нее самой на свадьбах звучало? На первой свадьбе магнитофон сломался, только отцова гармонь осталась. Кричали „Горько“. Алик не целовался - им не положено - прикрывал лицо белой арафаткой.

С Биллом?.. Тогда и свадьбы толком не было. Зарегистрировались в мэрии, выпили шампанского и поехали в Глазго знакомиться с родителями...

На Синяке запищал пейджер.

- „На права ты сдал. Гуд найт. Иван“ - прочитал вслух Синяк и поднял свой персональный стопарь с гравировкой „Вовка Синяк“, застолбленный еще со школы. - Все! Еду в Германию. Кто со мной?! Александра?!

Саша решительно встала, раздраженная, что не разобралась с Мендельсоном.

- Александра едет домой, - и улыбнулась Тане, - приятных сновидений.

6.

Можайский творог скрипел на зубах, как свежесмытые волосы. Роман высыпал его в миску для приبلудных кошек, оставленных на зиму летними садоводами. Вернулся в дом, заправил пишущую машинку и затарахтел... Но выходило блекло. Посмотрел в холодильнике, где привык держать ленты про запас. Нету. В Москве есть, а здесь хрен ночевал. Видит Бог, хотел писать гневное обли-

чение Сикина, заклеить, пригвоздить, забить. Даже название придумал - цитату из Окуджавы „Чтоб не пропасть поодиночке...“ Начало такое:

„Чтоб не пропасть поодиночке, необходимо поставить перед Международным Исполкомом КСП вопрос, могут ли в руководстве Российского Клуба Свободных Писателей находиться вчерашние стукачи?..“ Стоп! Блеклая лента, блеклый текст... Одно к одному - в общем ногти на ногах закорючиваются - верный признак пошлятины. Читать эту мякину никто не будет. Какое уж тут обличение?

Роман взглянул в окно. Соседка, Анна Васильевна, потомственная дворничиха, в спортивном синем костюме, в бигудях под косынкой, похожая на старого маленького спортсмена, облокотясь на прожилину забора, недовольно наблюдала за двумя тощими странно одетыми мужиками, вяло ковыряющими запущенный огород Романа.

Роман закрыл машинку футляром, задвинул ее под стол и вышел на крыльцо.

- Приветствую, Анна Васильевна. Горный воздух - мечта туберкулезника.

- Привет, Ромочка, привет, - невесело отозвалась дворничиха и для разгона пожаловалась. - Корявая стала - с ног валюсь. Напала на лекарства - вроде полегче. Еще беда: приехала с Москвы - на постели черноплодка. Откуда, думаю? Попробовала: крысиное. Стало быть, крысы.

- А у меня кран водопроводный похитили, - пожаловался ответно Роман.

- Твои и свинтили, - кивнула соседка на чудных мужиков.

Роман пропустил ее заведомый навет мимо ушей.

- Какие виды на урожай, Анна Васильевна? Поливать яблони ввиду зимы или как?

- Какой полив?.. Ты все равно не будешь. А, во-вторых, три дождя весной в мае и по нашему региону воды не надо...

„Регион“. Лихо. А все - телевизор.

- А телевизор работает, Анна Васильевна?

- Цветной привезла. Вчера на ночь хороший фильм передавали, с мучениями. Ты сериал-то не глядишь?

- Ну, почему, - вежливо уклонился Роман. - Порой бывает...

За спиной соседки чернели свежевскопаннные без единого сорняка уголья. Грядки плотно обжимали со всех сторон крепкий домик. Заросший бурьяном участок Романа норовил по весне распространить сорняки на ее территорию, что соседка тяжело переживала, отдать ей должное, молча.

Чтоб конфликтовать минимально, Роман и привлек для окультуривания своей земли рабсилу. Мужики на его крохотной неплодоносившей латифундии были психобольные из ближайшего рабочего поселка, где с приходом демократии распустили дурдом, вернее, перевели его на самокупаемость, проще говоря, пациентов почти перестали кормить. Небуйные отощавшие дурдомовцы с утра до вечера слонялись по окрестностям в поисках пропитания. Весной, когда оттаяли овраги, они было обосновались на общетоварищеской помойке в песчаном карьере, где для проживания вырыли себе норы меж корней вязов, удерживающих склоны. Но вскоре „сикилетов“, как их называла Анна Васильевна, поперли оттуда здравомыслящие и предприимчивые бомжи.

Роман привадил двух психов; придел их в списанную израильскую форму, которую приволок его сын Димка из пустыни Негев во время прохождения воинской службы в танковом полку капте-ром.

Психи были счастливы, главным образом, радовались они бездонным накладным карманам на штанах, куда складывали заработанное подаяние.

Роман, глядя на них, вспоминал аккуратного бородатого дедушку-нищего, Липиного другана и воскресного собеседника. Он приходил в Басманный всегда по выходным, круглогодично в валенках, зимней шапке, с мешком за плечами. Соседи по коридору давали ему куски, а Липа - культурно - денег. Рубль - до 61 года, и гривенник - после. В квартиру дедушку она почему-то не пускала и вела с ним долгие разговоры сквозь приоткрытую дверь на цепочке о жизни и политике, покуривая в прихожей на низенькой неудобной табуретке.

Дедок помогал внучке, которая училась на медицинском. Липа, несмотря на незаконченные курсы Герье, считала нищего большим авторитетом. Имени-отчества его, правда, не знала - этими дета-

лями она пренебрегала. У нее даже кот любимый все свои двадцать пять лет ходил безымянный.

...На первых порах Анна Васильевна осерчала от зависти, хотела протестовать против эксплуатации „сикилетов“, но тут сестра, у которой недавно от вина повесился в шкафу муж, подкинула ей сына с болезнью Дауна. Он вольно бродил по всему товариществу, забредая в дома и огороды, пугая садоводов. Он был сверстником Романа, хотя Анна Васильевна, по слухам, клялась когда-то, что такие долго не живут, помирают до двадцати.

Сейчас, в осеннее время, дебилный ровесник был одет приблизительно так же, как и Роман, – тепло и плохо. Так же он ставил при ходьбе ноги елочкой, и выстарившиеся садоводы со спины их частенько путали.

...Все это прекрасно, размышлял Роман, покуривая для разнообразия на свежем воздухе, сдобренном живым фекалом, ибо за бедностью садовые товарищи удобряли тощие подмосковные глины непосредственно содержимым своих уборных. Вот кошка Анны Васильевны поймала глупую мышь и мучает ее на бетонной потрескавшейся дорожке, пробитой вялыми осенними лопухами. Все это хорошо, пленэр и пейзаже... Что с Сикиным-то делать? Вот в чем вопрос...

– Кошка у меня хозяйственная..., – умиротворенно сообщила соседка, – всю улицу у нас облавливают... заботливая... Одно беспокойство – котята. Нынче, правда, им прививку стали делать от беременности.

Роман вынес на крылечко вскипевший чайник, но чаепитие не состоялось – его вдруг осенило!..

У Ваньки есть собственная справка, где, когда, и кем Ванька, Иван Ипполитович Серов, был привлечен к сотрудничеству с органами. Пусть Иван по ее образу и подобию „оформит“ такую же на Сикина. А Роман ее опубликует с комментарием. А потом пусть разбираются: натуральная справка или домодельная?

Роман завел машину, оставил ее греться, а сам пошел забрать пустые бутылки и мусор – по дороге выбросить на помойку. Психов он оставлял без опаски: перекопают, уйдут.

...Компостная куча Ильи Ивановича, родного дядьки Синяка,

который изавлек Романа в это не очень дружественное садовое товарищество, была завалена битой антоновкой, распространяющей райский винный дух. Обычное дело: хороший урожай – беда.

Сам же Илья Иванович, „чертов гном“, как величала его родная сестрица, мать Синяка, занимался важным делом, а именно, натягивал детский носочек на шипящий клюв рассвирепевшего индоселезня с хохлом на башке и трясущимся от злобы зобом. Войну с иностранной птицей старик вел с прошлого года, когда сдуру по жадности прельстился на базаре ее пресловутой мясистостью. И тогда же, сразу после сделки, окаянная утяра больно укусила старика за впуклое брюхо сквозь телогрейку, пиджак, кофту, рубашку и исподнее.

Сейчас Илья Иванович сводил с индюком счеты. Ноги индюка были связаны. Илья Иванович натянул-таки полосатый носочек с помпоном на расщеперенный плоский клюв птицы и туго замотал содеянное изоляционной лентой.

Роман от хохота еле выполз из машины.

- Пусть теперь пощиплется, пидор, - тяжело отпыхиваясь, сказал старик. - Уж и так ему, падле, червяков кидаешь, а он все сзади норовит... Ликвидирую...

- Пожалей животную, Иваныч...

Илья Иванович задумался. Снял заморскую кепку, подарок Синяка, вынул влажный вкладыш из газеты „Завтра“, которой был подписчик, и выложил донце свежей прессой, оберегая от засаливания синий шелк подкладки. Потер поясницу.

- Костеохондроз одолел... Сам-то куда, за вином?..

- Позвонить надо.

Москву дали сразу.

- Ответьте Дорохову, - приказала телефонистка Ивану.

- Писатель Дорохов? - ответил Иван. - Приболел никак?

- Ванька, слушай меня! Ты делаешь на Сикина справку, такую же, как у тебя, мы ее публикуем. Сикин от стыда вешается, я живу с чистой совестью, ты живешь...

- Я не живу, - оборвал его Иван. - Я сижусь. Ты бы еще из кабинета Сикина позвонил.

- Иван, прости Христа ради. Но ты понял?

- Рома, - педагогическим внимательным голосом начал Иван, чтобы не взбесить Романа, - ты обернут в воспоминания...

- Ответ однозначно: ты справку делаешь?!

- Жирный, ты рехнулся! У тебя вспенилось самолюбие. Си-кин - ноль, вошь подретузная. Ему в лучшем случае - два тычка плюс ложка крови. При помощи Синяка. А твоя праведная вдохновенность и воспаленная революционность и всегда-то были мало симпатичны, а сейчас и подавно... Кому все это надо?..

- Мне это надо! Мне! - заорал Роман на весь переговорный пункт. - Тебе все равно, а мне нет! Я член КСП! Он - директор. Значит, мой директор!.. А ты, видать, от своей богомолки заразился милосердием!.. Это не милосердие, а попустительство!..

Роман орал так, что телефонистка высунулась из своего дупла, а пожилые граждане кавказской национальности, скромно сидевшие на корточках по стенам в ожидании очереди, по всей видимости, армяне-шабашники, вышли деликатно на лестницу.

- Рома, кончай истерить, - грубо оборвал его Иван. - Истерика хороша у старых дев и оперных теноров. Советскому писателю она как слепому зухер!..

Ай да Ванька! Поди позлись на него толком.

- Иван, у меня куража нет больше тебя убеждать. Последний раз... Не хочешь справку делать - напиши в двух словах, как он тебя посадил...

- Донос писать не буду...

У Романа в кармане запищал пейджер, завещанный Синяком на время германской отлучки. Он и рвется, вероятно.

- Погоди, Иван, - Роман достал пейджер, прочитал сообщение. - Слышь, Ванюх, Синяк на проводе. Послезавтра на даче будет. Тебя требует и барышень.

- Проститутку будешь приглашать?

- Это ты про Таню? - напрягся Роман.

- Нет, это я про Сашу.

Догадливый Иван Ипполитович. По рассказам все про нее просек, хоть ни разу не видел. Обидно, конечно, за Синяка, но из песни слова не выкинешь.

- Сам-то приедешь, Ванька?

- Дык, - сказал Иван многозначительно.

- Ясно. В дому запой?

- Отчасти.

- Тогда целую. Дождусь Синяка и приеду. Про справку думай.

Кстати, что такое „зухер“?

- Да хреновина такая, на объектив надевается. Рома, совет хочешь писательский?

- Ну?

- Если тебе нейдет так уж, напиши про Сикина рассказ. Без зубовного скрежета, как бы благожелательно. Слегка со стороны. Остраненно. Как Толстой советовал. С подачи Шкловского. А для эпического уравнивания переменяй повествование описанием встречи с твоей Таней, поподробней. Пиши, не думая, что могут об этом сказать мать, жена и папа...

- У меня же нет ни того, ни другого, ни третьего...

- Тем более, - сказал Иван, а Роман увидел, как Иван в этом месте кивнул удовлетворенно.

- Ладно, - сказал Роман. - Целую. Буду Тане звонить.

Таня была дома. Приедет, привезет чеснок. Зачем? Но разговор кончился.

Бутылки позвякивали на переднем сиденье.

Роман думал о Ваньке. Умница Ванька все-таки. А ведь по логике должен был сгинуть в лагере: не здоровяк, не боец, не „пламенный революционер“. Спасли его стихи, хотя он прекрасно сознавал всегда, что стихосложение дело не мужское, более того - нездоровое, порожденное комплексом неполноценности, ибо, если комплекс полноценный, зачем заниматься графоманией. Уже написан Вертер. Ан, нет. Расписался в лагере за себя и за того парня. Тем более, что память отменная: ни карандаша, ни бумаги не надо. Досочинялся до того, что перевел „Парус“ Лермонтова („Белеет парус одинокий...“) на свой лад: „...Чтоб собачился капитан, И скрипел полосатый шкафут, Чтобы не было счастья и там, Как не было счастья тут...“

Обратно Роман не спешил - дело-то сделано, Ивана озадачил.

Облака низко висели над дорогой, даже не облака - минвата.

Роман свернул к помойке. Вороны сосредоточенно клевали

свалку. Роман подрулил к ободранному вагончику бомжей и, хотя из трубы шел невзрачный дымок, заходить не стал. Погудел, прислонил бутылки к двери и отъехал, помахав вышедшему хромому мужчине.

- Хна на спирту не интересуется? - крикнул ему вдогонку бомж.

- На стекольный для шампуней завезли. Коньяком отдает, только моча черная.

Бомжи были очень почтительные. Роман ценил их расположение: в полутрезвом здравии они щедро делились биографиями. Трезвые бомжи были мрачны, подозрительны и неинтересны. Жили они двумя парами, сторожили помойку. Дело это было грязное, но нехлопотное и доходное. К ним частенько подруливали мусоровозы аж из самой Москвы, которых хранители свалки сначала для острастки посылали на далекую помойку под Гагариным, а потом, сжалившись, по сходной цене, допускали нелегально вывалить груз у себя.

За их вагончиком был склад запчастей к услугам нуждающейся округи: аккуратно составленные неработающие телевизоры, пожелтевшие холодильники без дверей, велосипеды без колес и два ржавых остова „жигулей“.

Кроме биографий, Роман имел у бомжей постоянный кредит. Услуги были обоюдными не только по бутылочной части - прошлой весной Роман помог жене одного устроиться в институт Федорова исправить полувыбитый глаз.

...А может, и действительно, не надо было все это кадило затевать, орать на Ваньку, справку требовать?.. Роман засомневался, как всегда, сделав важное дело. Эх, посоветоваться не с кем!

Гуревича два года назад сбил автобус. Люся получила премию в Париже, вприклад к ней трехмесячную стипендию и теперь обретается в Нормандии, среди коров, пишет и скучает.

Были у Романа еще друзья, но, увы, не для советов.

Сереню Круглова, с которым знаком был с яслей, сократили на радио вместе со всем радио. И он, дождавшись, когда Роман надолго уедет за рубеж, при помощи Ваньки, переделавшего ему документы на еврея, слинял в Данию. Сереня был замечательный редактор, но сильно запереживал, когда у Романа неожиданно пошли дела в гору. Ему казалось, что это несправедливо. Он и

школу, и техникум, и институт – все окончил с неизменным отличием, а фишку схватил Роман. Правда, зависть свою, отдать должное, Сереня скрывал изо всех сил. Да он бы сам и не свалил, все жена Нинка-длинная: „Дети, дети...“ А какие там дети. Вывезла самогонный аппарат из Москвы, споила безропотного Сереню в шесть секунд, и сама хань лактает почем зря. А параллельно делится, по слухам, недорастраченным темпераментом с выходцем из Югославии сербским художником-станковиком.

Юля? Юля пятнадцать лет защищал диссертацию по износу подшипников колесных пар. Не защитил. Пары стали никому не нужны. Похоронил родителей, одичал, несмотря на немалое наследство: две машины, две квартиры, два гаража, дача плюс деньги. Все сгнило, заржавело, обтрухалось, похезалось. Он из упрямства никак не менял жизнь, уверен был, что она сама поменяется, как будто она ему чем-то обязана. Не поменялась. Теперь он ходил дома голый, чтобы не изнашивать одежды, и с тревогой высматривал в зеркале пробивающуюся седину. Советы Романа, Синяка, Ваньки отвергал стойко, все чохом, без рассмотрения.

Завел себе дома куру Петю. Петя приносила ему каждый день шершавое кривобокое яйцо, подернутое зеленой какашицей. Питались Юля и Петя из одной пластмассовой бочки с пшеном, доставленной его бывшим студентом-заочником с периферии.

Славка Билов?.. Билов прогорел в своем кооперативе „Зебра“, где был вице-президентом, скрылся от кредиторов, экстренно поглупел от страха и определился в самодельный монастырь под именем отца Пантелеймона. Случайно Роман встретился с ним на Ленинградском рынке, тот закупал острости для изготовления аджики на зиму, чем изрядно удивил Роман, который сам в свое время работал истопником в деревенской церкви и был в курсе религиозного рациона. Славка попросил сто долларов на нужды монастыря и долго говорил о Спасении. Роман спросил, как живут его дети? Славка важно заявил, что не знает, ибо знать сие не положено ему по чину.

Роман сто долларов не дал, на том свидание и окончилось.

...Синяк объявился через два дня. На почти новенькой синей „ауди“, которую гнал на продажу.

Погудел у калитки - безрезультатно. Зашел на участок.

Военнослужащие недружественной армии тупо уставились на него. Из беззубого рта одного из воинов свисала долгая слюнная шлея.

- Как жизнь, мужики?! - гаркнул Синяк, несколько озадаченный их внешним видом и окружающей тишиной. - Херово?.. Знаю. Стронгу принять не откажетесь?..

- Не смей! - донесся из уборной знакомый голос. Засупониваясь на ходу, к нему спешил Роман. - Ты их опиошь - они товарищество разнесут со товарищи... Пройдите в хату, гражданин.

В кресле-качалке возле теплой печки Саша громко смотрела „Санту Барбару“, потому и не слышала, кто приехал.

- Во-овка! - заорала она, кидаясь на шею Синяку. - Где ты был? Почему так долго?!

- Всего неделю, - опешил Синяк и добавил не очень уверенно, - Соскучилась?..

Может и не очень стерва? - засомневался Роман. - Нет, просто чувствует, что Сикин с вещами на выход предполагается, и активно формирует местоблюстителя.

В окно, освещенное закатным солнцем, за содержимым домика сосредоточенно наблюдали приблизившиеся психи.

Синяк поставил Сашу на пол, замахал на дураков, чтобы сгинули.

- Идите к своему папе! Жирный, уводи бойцов! У нас секс-час. Саша решительно задернула занавеску.

* * *

Дорога к родне была припорошена навозом. Илья Иванович начал потихоньку завозить с колхозных полей к себе удобрение.

Заслышав машину, он бойко прихромал к воротам. В разрозненном костюме, синем линялом бабьем берете, калошах. Без зубов.

- Дядил! Ты прям, как миротворец! - крикнул Синяк. - Голубой берет...

- Стронг привез? - строго поинтересовался Илья Иванович вместо радушия.

Синяк не успел ответить - из машины вышла Саша.

- Кто это? - осевшим голосом спросил Илья Иванович.

- Баба моя, - скромно сказал Синяк, обнимая старика.

Илья Иванович, забыв отозваться на родственные чувства, вытянув шею, с трудом выглядывал над плечом Синяка.

- Врешь... Небошь, Романова.

- Вашего, - кивнула, улыбаясь, Саша и представилась. - Саша.

- Илья, - хрипло пискнул старик, выкручиваясь из объятий племянника. - Пойду зубы надену.

- Ма-ма-ня! – заорал Синяк. - Выдь на Волгу!.. Воспомоществование привез! Стипендию ноябрьскую!..

Синяк каждый месяц давал матери пятьдесят долларов, которые она, разумеется, не тратила, прятала, а куда? - Илья Иванович не ведал и нервничал по этому поводу: помрет раньше его, где искать? И поинтересоваться не мог, так как они с сестрой не разговаривали уже лет двадцать. А все из-за того, что Илья отписал свои пол-избы бабе из деревни Гомнино, которую, несмотря на преклонный возраст и клюку с хромотой, еще навещал.

- Мама-аня! - надрывался Синяк.

- Заанятая! - отозвался низкий голос - женский вариант Синякова баса. - Чеснок сажу!.. Роман тут?! Пусть в среду зайдет - стюдно дам.

- Ишь ты! - ехидно покачал головой Илья Иванович, - ни брату, ни сыну родному рожу не кажет, а чужому человеку - стюдно! Озорница!

- Спасибо, Татьяна Ивановна! - отозвался Роман. - Приду обязательно. - И повернулся к Синяку: - Ты бы ей психов моих арендовал. От давления.

- Не помрет! - Синяк таскал из багажника ящики: пиво, питва разнокалиберная, мясо, овощи. В Белоруссии подешевке купил матери наперед копченого мяса, картошки отменной, сала... - У нас порода долгая. Прожиточный минимум 85 лет. Они с Ильей еще друг друга переживут, да, дядил?!

Илья Иванович не отвечал, он вил восьмерки вокруг Саши. Рассматривал, дотрагивался, как бы невзначай. Саша посмеивалась над липучим стариком, поворачивалась с поднятыми как на рентгене руками.

Роман потихоньку слинял на Синяковой машине на станцию, встречать Таню.

Танечка прибыла точно по расписанию такая же красивая, беззубая, с косой и, слава Богу, не в спецодежде, - в длинном джинсовом сарафане на водолазку. Барышня-крестьянка. Привезла целую суму чеснока.

- Матушки! Чего ж я с ним делать буду?

- Посадим. Ты же говорил, что чеснок маринованный любишь.

Роман взял у нее сумку, поцеловал.

- Работу прогуливаешь?

Таня рассмеялась.

- Заявление подала по собственному желанию.

- В музей Ленина? - Роман распахнул перед ней дверь.

- Какая машина красивая! Ты говорил, у тебя „жигули“.

- Это не моя, Синяк пригнал.

- А я замуж выхожу, - сказала Таня, - за капитана.

- „Выйти замуж за капитана“ - фильм такой был. Плохой.

- Мы учились вместе. Он на Севере служил, теперь у нас в пожарной части. Непьющий. Правда, очень упрямый, во всем видит плохие происки... Леночка не против.

- А как у нее дела?

- Ой! Сочинение писала „Моя любимая книга“. Про „Квартеронку“ Майн Рида. Учительница исправила на „Квартирантку“. И брюки „клевш“ с мягким знаком сделала. Теперь хочет ей четверку вывести, а Леночке ведь медаль нужна. - И без перехода мягко продолжила: - Мы с тобой последний раз, наверное, видимся.

- Второй, - сказал Роман и добавил: - Не так уж и мало, - большинство людей вообще ни разу не видится... За всю жизнь.

Илья Иванович за время отсутствия Романа индоселезня ликвидировал. Сейчас он стоял возле избы в окровавленном фартуке и поливал безголовую птицу кипятком, чтобы легче отходило перо.

Таня вышла из машины.

- Одна другой краше... - пробормотал старик, вытирая руки о фартук. - Где ж вы их чеканите?

- Здравствуйте, дедушка, - улыбнулась Таня.

- Какой я тебе дедушка! - обиделся старик, снова принимаясь за птицу, без рукопожатия, однако беззубость ее углядел. - Самой-

то вон передок весь выставили... Выпивать-то будем когда? - пробурчал он в сторону племянника. - Вторую неделю не пивши...

- Не вижу логики, дядил, - сказал Синяк. - Чего ж ты всю по-мойку яблоками завалил? Нагнал бы вина отменного и пил-сосал с Францем втихаря. Он жив, кстати?

- А куда он, пропадла, денется, - молоко должен принести. И с яблоками я мудохаться не буду! - он вырвал последнее неподдающееся перо из бывшего врага. - Пропади они пропадом!..

Синяк принял ошипанную птицу и на пне в момент изрубил ее на шашлычные доли.

- Все гот-о-ово-о!.. - протяжно крикнула Саша с крыльца. - Только рюмок не нашла!..

- Бокалы ставь! - грубо велел старик.

- Чашки, - перевел Синяк.

- У меня свой стопарь, - Илья Иванович достал из кармана неровно обрезанный коричневый конус из пластмассовой пивной бутылки с завернутой розовой крышкой.

- Дядил, ты мне все-таки объясни, - перебил его смущение Синяк, - зачем ты яблони сажал, если яблоки тебе не нужны?

- Все сажали, - огрызнулся старик и, почувствовав, что сдает позиции, набросился на Романа: - Ты бороду-то сброй... Тебя по телевизору показывали: уж ты чухался-чесался... То ли пьяный, не поймешь, то ли вшивый?..

- Точняк, - охотно подтвердил Синяк. - Жирный весной по телику бухой вылез.

- „Поле чудес“ начинается! - известила Саша. - Кто хочет?

Синяк нацепил разрозненного индюка на шампуры и полил, чтобы не обгорал, зацветшей водой из бочки.

- Ты бы лучше из лужи, - посоветовал Роман, озираясь. - А куда Таня подевалась? Татиа-ана!..

- А вот она! - сказал Синяк.

Таня вымыла руки в той самой бочке, из которой Синяк поливал шашлык.

- Я с бабушкой вашей познакомилась, - сообщила она. - Нормальная, приличная бабушка. На Володю очень похожа. Рома, мы чеснок посадили на твою долю. Бабушка за ним будет уха-

живать. А я приеду на следующий год, замариную, как ты любишь. Роман посмотрел на нее и сказал негромко, чтобы никто не услышал:

- Куда ты приедешь? Ты замуж поедешь. Забыла?

Таня кивнула.

- Забыла... А я недавно купила Сличенко и по-новому поняла Есенина...

- „Поле чудес“ началось! - опять крикнула Саша.

Таня переполошилась, побежала в избу:

- Сегодня у Якубовича одна женщина должна быть из наших, из Владимира.

- ...а Солженицына вашего правильно сняли с передач, - договаривал свое Илья Иванович, - только воду мутит. - Земство ему подавай!

- Дядил! - крикнул со двора Синяк в открытое окно. - Развлекай женщин, ты ж у нас джентельмен - голубые яйца! Расскажи про Бухенвальд.

Синяк размахивал в полумраке над мангалом чем-то круглым, только искры во все стороны летели. Конечно, крышкой от помойного ведра, благо никто не видит.

Дважды просить старика не пришлось. Он сдержанно, от этого очень правдоподобно, поведал, как был в Бухенвальде. Стоял у газовых печей, где жарили коммунистов и комиссаров. Бывало, увидит коммуниста в очереди, хват за рукав и в сторону - спасал... Синяк принес огнедышащие шампуры, раздал. Дядьке дал кусок с гузкой врага. И теперь разливал всем драгоценное мозельское вино „Либфраумильх“. Старик, на всякий случай скривившись, нюхнул янтарное вино, поднес ко рту, и выпил, страдальчески морщась. Синяк на свою беду перевел название вина.

- „Молоко любимой женщины“.

- Тьфу, ё! - Илья Иванович плюнул на пол. - Дай хлебушка жевать.

Посмеялись, поели. Роман посмотрел на часы, подошел к телевизору.

- Я на секундочку переключу, что хоть в столице?..

- Жирный, - ты мне весь тост смял, - занял Синяк.

- А ты говори, не обращай внимания. - Роман пассатижами

вертел обглодок переключателя программ черно-белого „Рекорда“.

- Александре Михеевне Джабар, моей возлюбленной женщине вручается, торжественно заговорил, поднимаясь, Синяк, - чтобы она ножки свои царственные зазря не била, вручается... как было обещано... под цвет глаз... автомобиль. Бляю!

Саша потеряла дыхание.

- Не ругайся при женщинах, - одернул Илья Иванович племянника.

- „Бляю“ - голубой по-немецки, - пояснил Роман, не находя нужную программу. - Михеевне фарт.

- Чего?! - подался вперед старик. - Машину подарил?!.

- Жирный! - разбушевался Синяк. - Подари Танечке тоже что-нибудь для рифмы! В смысле, для симметрии.

- Дарю! - не оборачиваясь, покорно сказал Роман. - Металло-керамику дарю! На свадьбу! Обоя зуба!

- Горько! - заорал Синяк и полез целоваться, сначала к Саше, а потом и к Тане. - Правильно, Танечка. Жирный пацан деловой. Две свадьбы в одну сольем!.. Экономия...

- Да я не за Романа выхожу, - внесла ясность Таня. - Я за одноклассника. Капитана. Его Костя звать.

Саша, с трудом восстановившая дыхание от первого сообщения, снова его потеряла.

- Ты замуж выходишь?..

- Тихо! - скомандовал Роман, докрутившись до звука.

На экране Председатель фонда защиты гласности Алексей Симонов, больше похожий на своего отца, чем сам Константин Михайлович, сообщал, что минувшей ночью был арестован известный поэт и правозащитник, уже отсидевший восемь лет в советских лагерях за инакомыслие, Бошор Сурали.

- ...Бошор пытался найти защиту для себя и своей семьи в нашей обновленной стране. Однако наши чиновники оказали посильную помощь восточным коллегам, не оказав помощь Бошору, - Симонов, набычившись, недобро посмотрел кинокамере прямо в глаза и, боданув седой красивой башкой прямой эфир, картаво добавил: - Верной дорогой идете, товарищи!

На экране его сменила фотография Бошора, еще с двумя

ушами, смеющегося во время получения международной премии в Союзе Журналистов.

- Убьют, - Роман выключил телевизор, обернулся и долгим затаенным взглядом обозрел Сашу.

- Чего уставился? - огрызнулась та. - Я почти все документы уже оформила... А, кстати, где ему в Москве жить, интересное дело, со всеми детьми? У тебя квартира есть!

- Засохни, - прошипел сквозь зубы Синяк.

Роман задумчиво почесывал бороду.

- Значит, Сикин меня не понял, - пробормотал он. - Моя вина...

- Ладно, Жирный, не журись, - забеспокоился Синяк, - будешь теперь пережевывать всю дорогу. - И успокоил: - Поедешь, проверишь, жить он у меня может. Я у Сашки. А Сикин?..

Сикин свое огребет. Покат пойдет - он к стенке прислонится...

Но Роман мысленно был уже далеко; зачесался, как всегда, когда волновался. Верный признак - что-то отчудит. Скорее всего в Москву ломанется.

- Жирный, очнись! - окликнул его Синяк. - Ну, все, Жирный, проехали...

Илья Иванович недовольно ерзал на стуле. Ну, посадили и посадили. Если бы хоть русского!..

- Меня вот тоже сажали, - проворчал он. - Ну и что теперь, ураться?

- Тебя посадили, потому что ты листовое железо во время войны украл, - рассекретил дядькин „Бухенвальд“ Синяк. - Там тебе и ногу повредило. Тебя тюрьма от войны, можно сказать, спасла. А тут совсем другой расклад.

- Это-то да, - справедливости ради согласился Илья Иванович, - Михеевна, а вот скаже мне по совести: ты бы дала черножопому? Только по совести?

- За большие деньги. Может быть.

- Ты мне, Михеевна, такую как сама привези. Я денег дам. У меня много есть.

- Ты же не черножопый, - опешил Синяк.

- А зачем издалека возить, - небрежно сказала Саша, поправляя макияж, испорченный Синяковым целованием, и не меняя позы, спросила: - Танюш, подработать не желаешь?

- Чего-о? - Синяк угрожающе повернулся к Саше.

- Тихо, - сказал Роман и снова включил телевизор, теперь уже первую программу.

- ...от приступа острой сердечной недостаточности в следственной тюрьме скорпостижно скончался поэт Бошор Сурали, - будничным голосом сообщил диктор.

- Убили, - пробормотал Роман.

Синяк зачем-то встал, налил себе водки, выпил и выдохнул, оставившись в Сашу:

- Пошла на хер вон отсюда!

* * *

Проснулся Синяк рано и не по своему почину - до крови прикусил все еще не обношенными зубами щеку изнутри. Замычал и встал с закрытыми глазами с целью опохмелиться. Побрел к холодильнику. Нащупал бутылку, хлебнул и выплюнул: уксус. Теперь уж проснулся окончательно.

Светало. Дядька храпел. Синяк припомнил вчерашнее, пока фильм не прервался. Лучше и не вспоминать, мрак, хоть вешайся. Он вышел на крыльцо. В Гомнине кричала единственная на всю округу корова Франца Казимировича - отставного пастуха, собутельника Ильи Ивановича. Корове небойко поддакнул ранний петух.

Синяк нашел в багажнике „беловежскую горькую“, вспомнил, что подарил машину, захлопнул шумно багажник и отрегулировал „беловежской“ разлаженный и опаленный уксусом организм. Закусил почерневшим индюшиным крылом и, зябко поеживаясь, отошел к забору, расстегивая на ходу джинсы. В косе жужжал застрявший жук, но даже подумать о том, чтобы его вынуть, Синяк был не в силах. Выжить бы.

В дальнем конце огорода в утреннем полумраке над грядой что-то темнело.

- Ма-ам! - негромко прокричал туда Синяк, чтобы не будить гостей, и поплелся в огород.

Татьяна Ивановна не отвечала. Она стояла на коленях, сложившись в пояс, уткнув голову в подернутую ледком грудю. Из-под

косынки у нее торчал здоровенный лопух – „от давления“. Под животом был маленький бочонок, который она подкатывала для облегчения полевых работ.

Синяк, почуяв неладное, замер с поднятой ногой.

- Мам!..

Опять не ответила Татьяна Ивановна, ибо еще вчера отдала Богу душу, так и простояв дугой на огороде всю ночь, пока они женились-разводились.

Синяк стоял над мертвой матерью и плакал.

Первым Синяк разбудил Илью Ивановича. Тот пощупал у сестры отсутствующий пульс, затем вместе с племянником безуспешно попытался разогнуть покойную, как будто это могло ее оживить.

- Вот оно, наше хозяйство, - проворчал он, - так буквой „зю“ на бочке в рай и поехала...

Он принес рулетку, обмерил сестру и похромал в сарай готовить негабаритный гроб.

Синяк разбудил Романа. Роман тихо выбрался из постели, чтобы не разбудить Таню, еще не вышедшую замуж и посему спавшую вместе с ним.

Они вышли из дома.

- Чего так рано? - зевая, спросил Роман, отходя в сторону.

- Журчи потише, - попросил Синяк. - Маманя умерла.

На тот свет Татьяна Ивановна в силу дурного характера перебиралась не по-людски. Смерть свою она в ближайшие годы не планировала, и Синяку срочно пришлось ехать в Рузу за халатом большого размера.

Хоронить себя в Москве она категорически запретила еще загодя. В церковь ее, перегнутую пополам, поставить не решились.

Пока старик ладил гроб, а Синяк с Романом ездили в Рузу за халатом и медсестрой, подтвердившей смерть, Татьяна Ивановна лежала, закрытая со всех сторон пожухлой помидорной ботвой, как всегда недовольная сыном, с открытыми глазами. Пока Таня обмывала покойницу и облачала ее в привезенный халат, глаза ее от возни запылились и стали не такими грозными. Таня протерла их мокрым полотенцем.

Наконец чудной гроб с Татьяной Ивановной через окно просунули в дом и поставили на стол постоять.

Могилу вырыли „сикилеты“.

- В Москву правильно решили не везти, - одобрил Илья Иванович племянника. - Куда такую тяжесть, а вот в церкви хоть чуток все ж таки подержать неплохо.

Синяк с Романом в паре с „сикилетами“ понесли гроб в церковь. Церковь была на запоре до воскресенья, когда батюшка приезжал на службу.

Роман, вспомнив религию, возмутился.

- Сегодня же суббота, всенощная. Батюшка должен быть.

Но оказалось, в связи с малочисленностью прихожан, субботнюю всенощную службу молодой батюшка перенес на воскресенье и служил вместе с обедней для экономии времени.

Роман разошелся.

- Церква не театр! - орал он. - Богу служат, а не зрителям! Из Христа кормушку сделали!..

Но как выяснилось из разъяснений сторожа, по благословению архиерея службы можно спарить. У батюшки в Москве много дел. Назад Татьяну Ивановну не понесли, тем более, что кладбище с готовой могилой недалеко от церкви. Закопали под вечер. На обратном пути купили в круглосуточном магазинчике при церкви все для поминок. Продавцом был церковный сторож.

К невеликим поминкам подоспел Франц Казимирович из Гомнина, принес Татьяне Ивановне молоко.

- Ишь ты! - озадачился он, узнав новость. - А куда ж мне теперь молоко девать?

Он пристроил велосипед к забору, закинул голову назад, чтобы тяжелые, как у Вия, веки не мешали зрению и вошел на участок.

- У меня вот тоже... Лидка старшая, в прошлом... нет, в позапрошлом году чего отчудила... Смеялась все смеялась, потом купила ножик в Тучкове за тридцать тысяч. Сначала в Дорохово поехала, там ножей не было, там санитарный день был, она в Тучкове купила. Помылась, попарилась и зарезала себе живот, как японский янычар. А insult у вашей, это нормально. Это излияние мозгов. Бывает.

Ванька прыгнул выше головы. Разоблачительную справку на Сикина он рисовать не стал. Он сделал несоизмеримо больше: свел Романа с демократическим генералом ГБ, тем самым, с которым некогда познакомился на телевидении в совместной передаче и который ознакомил Ивана с его досье.

Генерал, разочаровавшись в наступившей демократии, порылся в своей генеалогии и добыл там одну шестнадцатую еврейской крови по материнской линии, как у Ленина. И теперь в скором времени отбывал на историческую родину.

- Озлобленный я становлюсь на нашу интеллигенцию. Думал, она бойчее, - сказал генерал, вручая Роману справку, подтверждающую сотрудничество Юрия Владимировича Сикина с органами.

Роман обомлел от подарка. В совершенно секретной паршивенькой бумажонке размером с телефонный счет с пометой наверху от руки „спец. учет“ сообщалось, когда, где и кем был привлечен для сотрудничества Юрий Владимирович Сикин. Семейное положение, партийность, адрес... С каким отделом сотрудничает. Привлечен в качестве доверенного лица. Пункт 12. Псевдоним... Прочерк. Стало быть, не удостоился.

Роман сделал большую ксерокопию - с машинописную страницу и помчался в КСП.

Саша была на месте.

- Сикин у себя? - спросил Роман как можно спокойнее.
- В Египте, - не отрываясь от компьютера, ответила она.
- У тебя кнопки есть?

Саша подвинула к нему коробочку с кнопками. Роман взял несколько штук.

Перед кабинетом Сурова он остановился, достал справку, разглядел ее и пришил на дверь директора. Отошел, поглядел: неплохо... Сздади раздался легкий звон колокольчика. Роман обернулся: по коридору навстречу ему шла колесом девочка, а может, и мальчик. Нет, девочка - косички развевались, на одной болтался колокольчик.

- Пол-то грязный, - восхищенно пробормотал Роман, уступая дорогу.

Девочка крутанулась еще раз и пошла на руках.

- Потом вымою, - напряженным баском ответила она снизу. -

А где дядя Юра?

- Идет тропой Моисея.

Девочка остановилась.

- А тетя Саша?

- Тетя Саша здесь.

Девочка развернулась и на руках пошла обратно. Роман, заинтересовавшись, побрел следом.

Девочка перевернулась и отворила дверь к Саше.

- Здравствуйте.

- Здравствуй, - ответила Саша. - Иди, вымой руки.

Девочке было лет двенадцать.

Она вытерла руки о джинсы и направилась в уборную. Уши у нее были заткнуты магнитофонными затычками.

Роман, сам не зная зачем, ждал ее возвращения. Интересно все-таки. Не каждый день по учреждениям дети на руках ходят.

- Роман Львович, - представился он, когда девочка вернулась.

- Аня, - девочка подала ему руку, на которой было написано „Анюта“.

- Тушью? - заинтересовался Роман, разглядывая ее запястье.

- Спичками, - сказала девочка и свободной рукой потянулась за яблоками на столе. На этой руке было написано „Тоша“.

- Кавалер? - поинтересовался роман.

- Гребем вместе, - кивнула Аня, впиваясь в яблоко. - Он на каноэ, я на байдарке. У меня и по акробатике первый разряд.

Роман выудил у нее из уха музыкальную затычку и, подув на нее, вставил в свое.

- Кто поет?

- Курт Кобейн. Он уже не поет. Он самоубился. А дядя Юра скоро приедет?

Саша, не отвечая, резко сунула Ане телефонную трубку.

- Позови Фируз по-английски.

Аня выплюнула недожеванное яблоко в ладонь, отдала Роману, взяла трубку и сказала:

- Хай! - И заверещала по-английски. - Потом вдруг поскучилась,

сказала вяло: - Ба-ай, - и положила трубку. - Он говорит: Фируз не хочет подходить.

Саша отвернулась к окну. Роман заметил, как у нее влажно заблестели глаза.

- А ты знаешь, Анна, - сказал Роман, - у тебя нос, как у целлулоидного пупса, из двух половинок склеен, посредине - рубезочка, шовчик...

Аня подошла к зеркалу, провела по носу пальцем.

- Очень некрасиво?

- Наоборот. Ни у кого нет, а у тебя есть. Ты кто дяде Юре будешь?

- Племянница.

- И какие трудности, племянница?

Аня достала из рюкзака, исколотого разнокалиберными булавками, лист бумаги. На нем было написано:

„Уважаемые преподаватели! Если вас не затруднит, сообщите два-три слова об успехах (неуспехах) моей племянницы Анны Куликовой. Заранее благодарен. Юрий Суров“.

Внизу от руки было написано: „Хорошо“, кроме литературы“. И подпись.

- Та-ак... Читать, значит, не любишь? А „Евгения Онегина“ кто написал? - спросил Роман.

- Кто-то на „ш“, кажется...

Роман погладил ее по голове.

- Умница. Пушкин. А кто эту бумагу придумал, дядя Юра?

Аня кивнула.

- Если нет троек, он мне двадцать долларов дает.

- А если есть?

- Все равно дает.

- Лихо пристроилась, - усмехнулся Роман. - Любишь дядю?

- Ага... - Аня закинула рюкзачок на спину. - До свидания.

- Стоп, - Роман достал бумажник с меховым кенгуру.

- Можно погладить? - Девочка потянулась к бумажнику.

- Можно. Это друган мой школьный подарил. Синяк Владимир.

Не слыхала? А зря, - Роман протянул девочке деньги. - На. Держи двадцать долларов и гребни дальше. Тоше привет.

Девочка не поняла, что случилось, но проворно цапнула денежку и исчезла.

Зазвонил телефон. Саша подняла трубку.

- Але!.. Фируз?.. Салямат!.. Хэлло!.. Иес... - И вдруг перешла на русский: - Родила?.. Ты?!. Кого?!. От кого?!

Роман подошел к двери. Да, ключ от „ауди“ забыл отдать. Он положил ключ на стол перед Сашей.

- Документы в бардачке.

Несмотря на еще не оконченный рабочий день в Клубе, уборщица уже занялась мытьем полов. Сейчас она полы не мыла. Она стояла возле кабинета Сурова, с интересом изучая справку на двери.

Аня расположилась у окна, рассматривая на свет деньги.

- Не фальшивые? - спросил Роман.

- Вроде нет.

Роман подошел к уборщице.

- Интересно?

- Впечатляет, - кивнула женщина. В прошлой жизни она была кандидатом филологии. - Натюрель или самопал?

- Обижа-а-ете, - развел руками Роман. - Из архивной пучины.

Аня сложила доллары, сунула их в задний карман джинсов и направилась к выходу.

- А чего это вы читаете? - поинтересовалась она, проходя мимо кабинета Сурова.

Все было нелепо. КСП, убитый в тюрьме Бошор, справка на двери казенного дятла и эта его племянница, ходящая на руках... Синяк, спяну подаривший машину напарнице дятла, и дочка Фируз, сдуру, по всей вероятности, разродившаяся в раскаленном Кувейте на другом краю земли... Да-а... Линять отсюда надо, а не выводить дерьмо на чистую воду.

- Да так, ничего, бумажка, - ответил Роман Ане и сорвал справку с двери, остались лишь уголки под кнопками.

- Все, - подмигнул он уборщице. - Хватит. Шутка такой. Писатели шуткуют.

Уборщица улыбнулась.

Пока Роман возился с кнопками, в кабинете Сурова что-то настойчиво попискивало.

- У вас, наверное, пейджер сигналит? - вопросительно взглянула на Романа уборщица.

- Точно, - кивнул Роман.

Надпись гласила: „Жирный, верни пейджер. Мы с Иваном едем к тебе рисовать на стене Эдика из музея Ленина. Подваливай быстрее. Синяк“.

- Без меня, гады, не жрите! - заорал Роман в пейджер, как в телефонную трубку.

Во дворе он догнал Аню.

- Ты до метра? Пошли вместе. Кстати, Аня, запомни: „метра“ говорить нельзя, нужно - метро.

1998 г.

Вышла в свет новая книга
НИНЫ ВОРОНЕЛЬ

„МАЙН ЛИБЕР КАЦ“

(276 стр.)

„...Контрапункт иронии и лирики у Н. Воронель – не случайность, он кроется в природе ее поэтики...“

•
„МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ“,
P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440

•
Цена – 36 изр. шек.
(25 DM для Европы, \$14 для США,
включая пересылку)

ЗА СТеноЙ ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

С первого дня моего сознательного восприятия окружающего мира мне указали на стенку из желтого кирпича.

Когда я громко закричал, неудовлетворенный чем-то, мама поднесла меня к своему лицу и громко сказала:

– А у нас по-соседству, за желтой стеной, живет такой же мальчик, но он не кричит и не плачет.

И я замолчал, пораженный сравнением.

В ближайшие шесть лет от всех членов семьи я узнал, что мальчик за желтой кирпичной стеной не пачкает в грязи сандалеты и рубашку, не гоняется за бездомными кошками, прилежно ест манную кашу, не показывает язык девчонкам и всегда слушается родителей.

Сами понимаете, какие чувства вызывал у меня этот образец для подражания. Я жил с надеждой проверить прочность его кулаков.

В школьные годы несчастный всезнайка, не получивший и четверки за все десять лет „каторги“, пробуждал у меня более спокойные мысли. В какой-то мере я свыкся с его существованием и принимал его, как должное. Правда, в пятом или в шестом классе (тогда у меня возникли проблемы с дисциплиной) мне захотелось познакомиться с ним поближе, но стена из желтого кирпича казалась довольно-таки высокой и прочной, а где она оканчивалась, не знал никто... Да и выяснять данный вопрос мне не очень хотелось. Я просто стал презирать его.

В институтские годы он не давал о себе знать, и облик худого зеленоглазого нытика в больших роговых очках (а именно так я

его себе представлял) заметно поблек в моем воображении.

Но зато как он восторжествовал, когда я женился.

- А наш сосед получает намного больше тебя!
- И поэтому купил себе новый автомобиль!
- К тому же он умеет стирать и готовить!
- Каждый вечер выносит мусор!

Было еще много разных фраз, доказывающих явные преимущества моего соседа в социально-бытовой сфере. Я терпел, стиснув зубы, успокаивая себя только одним: такой говорливой подруги, как моя любимая, ему не найти никогда.

Со временем выяснились и другие, не менее блестящие способности человека за кирпичной стеной.

В педагогической области.

В деле здравоохранения.

В сфере ремонтно-восстановительных работ.

На nive социального обеспечения.

И так далее...

Но когда мой правнук упрекнул меня в забывчивости и поставил в пример логически точные рассуждения моего, прекрасно сохранившегося, ровесника, башня многолетнего терпения рухнула.

Дрожащими руками я подтянул к стене лестницу и, спустя двадцать минут, сравнительно быстро осилив все двенадцать ступенек, приподнялся над краем заветной черты.

Я ожидал увидеть самое необыкновенное.

Розовощекого крепыша, бездумно улыбающегося в толпе столь же розовощеких внуков и внучек.

Старую развалину, прижимающую к щеке кислородную подушку и с ненавистью вспоминающую свою идеальную жизнь.

Злобного старика, трясущего худыми кулачками в сторону стены, где все это время жил Некто, которого ему приводили в качестве образца добродетельности и порядочности...

За стеной из желтого кирпича никого не было – только пыльная, грязная дорога, ведущая мимо большого заброшенного пустыря, на котором в течение многих десятилетий покоились кучи мусора.

Всю жизнь меня обманывали.

ДОРОГА В АФУЛУ

Меня разбудил телефон. Глухой голос Гришки, стеснительно сопя, выдавил:

- Ты не мог бы приехать? Здесь такая штука...
- Ну?
- Надо очень помочь одному человеку...

Я снял со счета последние триста шекелей и, спустя полчаса, звонил в серую дверь, размышляя, какая еще финансовая проблема приключилась с моим незадачливым приятелем.

Гриша сразил меня сразу – впервые за все время нашего знакомства я видел его в брюках. Дома, в тридцатиградусную жару.

- У меня только триста, – сказал я, душа в колыбели все возможные иллюзии приятеля на сей счет.

- Тут другое, – как-то неуверенно произнес Гриша. – Понимаешь, еду я вчера по шоссе, поздно уже, почти темень, а у дороги девочка рукой машет. Светленькая такая, худенькая... Я и встал. Не хотелось ее одну на дороге оставлять. До этого, на повороте, я таких дылд обогнал...

- Подобрал. А дальше? – нетерпеливо поинтересовался я.

- Да она какая-то странная, – страдальчески скривился он. – Где живет, не знаю, толком не говорит. Но, вроде, не из этих, порядочная... Ты бы ее взял к себе, а? С часу на час Томка заявится, а у меня девчонка – представляешь, какой спектакль начнется?!

- Представляю.

Гришка стоял, стыдливо поглядывая себе под ноги. Так всегда: товарищ совершает благородный поступок, а его последствия приходится расхлебывать мне.

- Показывай!

- Идем...

Девочка в светлой мужской рубашке, уложив маленькие кулачки под правую щеку, спала на диване. „Лет шестнадцать, – отметил я, – или пятнадцать. Самая ломка“.

- Вот, – с видом камеристки, оказавшейся на коленях у короля, пролепетал Гриша. – Она. Геня. Правда, на фею похожа?

– Понято. – Я положил ладонь на ее плечо и фея открыла глаза. – Вставай! Подъем.

Она посмотрела на меня. Просто и доверчиво.

– Мы куда-то поедем?

– Пойдем, – ответил я. – Пешком. Ножками. Тут недалеко.

Девочка перекинула через плечо сумку и встряхнула головой.

– Ладно.

– Вот и славненько, – засюсюкал сзади Гриша, светясь от счастья. – Дядя Миша добрый, дядя Миша тебя не обидит.

Я обернулся. Если бы взгляды могли убивать, одним Гришкой в тот миг стало бы меньше.

Мы пришли в мою квартиру. Весьма условное название. Комната три на четыре плюс закуток, именуемый кухней. А между ними – симбиоз унитаза и душа. Словом, жить можно.

Девочка застыла на пороге комнаты, вопросительно поглядывая на меня.

– Проходи, – пригласил я. – Так куда же ты все-таки едешь?

– В Афулу, – призналась она. – Скорей всего. Наверное. Нет, в самом деле. Точно. В Афулу.

– И как долго?

Фея опустила ресницы и вздохнула.

– Вторую неделю. До Афулы не так-то просто добраться. И потом: у меня нет денег. – Она улыбнулась и предупредила: – А еще я царапаюсь. И после этого меня сразу высаживают из автомобиля.

– Ну, положим, особой нужды царапаться у тебя здесь не будет, – заметил я. – А до Афулы доехать просто: пойти на автостанцию и купить билет. Кто там у тебя?

– Тетя. Возможно. Нет. Наверняка.

– А полиция, случайно, тебя не разыскивает?

– Случайно – нет, – она отступила к выходу. – Может, я лучше пойду?

– Куда?!

И девочка осталась.

Поздно вечером мы вышли вместе. Оставляя ее одну я не рискнул, а запирать на ключ было как-то неловко.

– Пойдем в банк, – объявил я. – Будем брать.

– Банк?

– Сначала ведро и швабру.

В душном помещении стеклянного колпака швабра передвигалась совсем не так быстро, как мне бы хотелось.

– Я умею, – Геня выхватила у меня из рук орудие производства и помчалась в противоположный угол зала.

„Умеешь, – подумал я. – Ничто так не скрашивает мужское одиночество, как бесплатный детский труд“.

Через два часа, совместными усилиями, с банком было покончено.

Дома Геня с сомнением оглядела мое узкое подобие кровати и осторожно спросила:

– А вы тяжелый?

– 76 килограммов. А если полностью, то 39/182/76. Устраивает?

– Вполне.

– А потому ты ляжешь на тахту, а я пристроюсь на полу, рядом...

И не волнуйся: в два часа ночи, да еще после взятия банка, меня уже ни на что не тянет.

– Спасибо, – улыбнулась она.

Сначала не замечаешь, что в квартире кроме тебя еще один человек, даже если он вежливо извиняется и жметя ко всем возможным углам. Но потом осознаешь, что это почти взрослая девушка, а у тебя и своих хлопот... А дни мелькают-мелькают, и приходится убеждать знакомых, что Геня – дальняя родственница и остановилась здесь проездом в Афулу. И те понимающе кивают.

Мы сидим и пьем чай. Я и Фея. У Феи распущены волосы и зеленая нелепая бабочка на шее. Где-то подобрала.

– Ну как? – спрашиваю я. – Что нового?

Есть масса вопросов, но не хочется задавать ни одного из них.

– Так, – ответила Геня. – Познакомилась с соседской кошкой. А может быть с котом. Произвела впечатление.

– Кто на кого?

– Взаимно, – произнесла девочка, – но в Афуле кошки все равно лучше. В Афуле кошки вальжане.

– Давай поедем вместе в Афулу, – предлагаю я и тут же, дабы не быть заподозренным в ксенофобии, продолжаю, – снимем квартиру на последнем этаже. Тебе – прихожая, мне – чердак. Поедем?

– Но это не так, – разъясняет Геня. – В Афулу нельзя приехать. Нет, конечно, можно, но это совсем другое. В Афулу надо прийти. Тогда – раз – и все переменится. И будет как раньше. Как когда-то... И люди будут улыбаться друг другу. Светло и радостно. Афула... Вы только прислушайтесь, как звучит – А-фу-ла...

– Ты выдумала свою Афулу, девочка, – вздыхаю я. – Это маленький неказистый городок у самой „зеленой“ черты.

– А вы там были?

Я покачал головой.

– Ну вот, – засмеялась она. – А еще говорите! Как вы тогда можете судить, бедный тель-авивский рыцарь.

– Я не рыцарь. Я мою полы по ночам, а днем пишу никому не нужные рассказы.

– И все хорошо? – спросила она.

– Абсолютно.

В субботу мы пошли в парк. По плиточным дорожкам носились домашние шавки, а волосатый юноша в шортах продавал мороженое.

– Когда наступит осень, в Афуле пойдут дожди, – прошептала Геня.

– В Израиле дожди начинаются только зимой, – поправил я.

– А в Афуле – осенью, – повторила она, – неужели можно забыть, что дожди начинаются осенью?

– Пройдет время – и ты забудешь, как уже забыли многие...

– Нет. Никогда, – Геня положила мне голову на плечо и посмотрела куда-то вдаль. – Seriously.

Я обнял ее левой рукой – так обнимают котенка.

Потом просуетилась еще неделя, и однажды вечером Геня, виновато отведя глаза, призналась:

– Сегодня я выяснила очень забавную вещь: я вас люблю. Абсолютно.

„Так, – понял я, намертво прирастая к стулу. – Допрыгался кузнечик, доскакался“.

Затянувшееся молчание прервал громкий, настырный стук.

Пришел хозяин. Скользя взглядом по комнате, и убедившись, что стены еще не проломаны, а потолок цел, он небрежно произнес:

– У тебя живет девка. Значит, плюс пятьдесят долларов в месяц.

По смуглому узкому лицу долго и безысходно блуждала какая-то мысль и, уходя, он выдал ее.

– Мог бы найти и потолще. С толстыми куда интереснее.

– Не такая уж и задача – найти пятьдесят долларов, – сказал я, отправляясь в банк. Ночевать я остался на рабочем месте.

А утром на кухонном столике меня ждал тетрадный листок, на котором проступали аккуратные строчки.

„До свидания. Я решила вернуться. Пошла на автостанцию и купила билет на Афулу. В самом деле. Честно-честно. Не волнуйтесь. Пожалуйста.“

„Вот так, – подумал я, – и никто больше не будет меня стеснять. Никто...“

Возможно, вам скоро встретится небритый широкоплечий детина в красной ковбойке, неумело тормозящий машины у дороги, ведущей на север. Не пугайтесь. Это я.

В Иерусалиме вышла в свет новая книга стихов

ГЕННАДИЯ БЕЗЗУБОВА

„СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ“

Цена книги в Израиле – 20 шекелей,

в других странах – 8 долларов США

(не считая пересылки)

Желающие приобрести книгу могут обратиться к автору.

Телефон: 02-6235185

Адрес: Gennady Bezzubov, Hedekel 2/15, Jerusalem 94324

СЫН

Петя Сорокин хотел иметь ребенка. Легкое, казалось бы, дело, но не такое уж легкое, когда тебе двадцать шесть лет и ты неженат. Впрочем, Петю это не смущало. Он сам вырос у матери-одиночки, а та – у его бабушки, тоже жившей без мужа. Так что его ни капли не смущал образ семьи с одним родителем. Петя был человек изобретательный, к тому же писатель, и он, победив очень тяжелую бюрократию, стал первым в истории отцом-одиночкой усыновленного ребенка.

Ребенку было три года, и звали его Абель. Петю предупредили, что мальчик „молод для своего возраста“, то есть отсталый и, возможно, дефективный. Это его даже обрадовало. Он, как и многие в шестидесятые годы, верил, что любовным отношением, уважительным пестованием и вообще лаской можно сделать ребенка счастливым, а значит, – рассуждал Петя, – и талантливым. „Это даже лучше, что он молод для своего возраста“, – думал он, – „так он будет больше моим сыном, как будто я его усыновил не в три года, а в полтора“.

Петя Сорокин, будучи не просто писателем, а еще и этнографом, изучал народы Севера. Для этого он среди них жил и выучил языки мансийский и хантский. Так что он знал, что такое учеба.

И вот, с этим знанием он подступился к маленькому Абелью, но тот ни в какую не хотел обучаться. Или, может быть, он не мог. Например, научиться зашнуровывать и завязывать ботинки у него заняло два года. Иногда казалось, что он даже не учится, а разучивается и знает с каждым днем все меньше. Ходить самостоятельно

в туалет он научился только к восьми годам. Потом у него обнаружили проблемы со здоровьем. Он стоял обычно ссутулившись, и врач сказал, что у него неправильно изогнут позвоночник, можно сказать, искривлен. Из-за этого у Абеля часто бывали простуды с высокой температурой, и он постоянно кашлял. Зато зубы у него росли прекрасно, и их выросло даже больше, чем у других детей.

Петр Сорокин теперь изучал вотяков и жил с сыном Абелем в их деревне. Вотяки получали помощь от государства, им построили клуб и даже собственный санаторий, где их лечили, в основном от алкоголизма. В этом же санатории время от времени подлечивали и Абеля. Как-то раз в санаторий привезли группу детей-подростков. Петру сразу показалось, что в них есть что-то знакомое ему. Они все задушевно обращались друг с другом, знакомо себя вели, их смех задевал его за живое, и даже стояли они как будто трогательно и понятно. Петр пошел к врачу и спросил: „Что это за группа детей?“ „А вы разве не знаете?“ – спросил его врач. – „Это дети с СЭА, синдромом эмбрионального алкоголизма.“ Петр был потрясен. Он вдруг ясно, как при вспышке молнии, увидел, кого они ему напоминают. Они все были, как Абель. Самое страшное было то, что многие свойства, которые он считал его индивидуальными чертами, родные движения, гримаски, надувание губ, все это было у каждого из тринадцати или четырнадцати мальчиков, которых привезли в санаторий. Доктор описал ему симптомы СЭА – искривление позвоночника, слабые легкие, повышенная активность, пониженная обучаемость, даже слишком много зубов. Все сходилось.

Петр не сдался. Он стал писать книгу про свою жизнь с Абелем, и от этого ему стало легче и интереснее учить того. Книга вышла. Петр ездил по магазинам, где ему устраивали встречи с читателями. Он подписывал им книги и делился наблюдениями над Абелем, которому был к этому времени уже двадцать один год. Когда он был на одной такой встрече, Абеля на улице сбил грузовик, и он погиб.

Петр очень горевал и стал молиться. Как он молился? Он ничего не делал, только тихо собирался внутренне и сидел в одном месте своей квартирки, позволяя Богу себя наблюдать и любить. „В mine очень много любви“, – думал он, – „надо только ничего не

делать, надо быть попассивнее, он тебя найдет. А мы этому сопротивляемся, и нас это пугает. Так нельзя.“

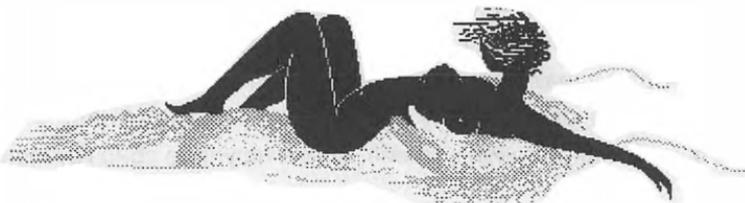
Через год, по северному обычаю, справили по Абеле поминки. Собралось несколько человек, самых близких и хорошо его помнивших. В первый день говорили о его храбрости и обо всем, что он сделал хорошего, на второй каждый рассказал, что он о покойнике думал при жизни, а на третий все устали и принялись рассказывать всякие смешные истории с его участием. Посмеявшись, они почувствовали облегчение, поели, выпили и разошлись.

Между тем, жизнь менялась. Происходил прогресс, например, появились полиэтиленовые мешочки, и в магазинах в них откускали квашеную капусту. Петр купил себе полиэтиленовый мешок и принес его домой. Он положил его на стол, сидел и щупал его пальцами с удовольствием, дивясь гладкости и тонкости нового материала в соединении с полной непроницаемостью его для жидкостей или воздуха. „Надо же, а мы всю жизнь все наливали в банки, в тяжелые стеклянные банки, не отличающиеся гибкостью. В твердые, можно сказать каляные, банки и бидоны.“ Вдруг он надел свой новый мешок на голову и прижал его края пальцами к шее. Мир стал мутным, гнутым, потом красным. Петя держал края плотно у шеи, пока его ногти не посинели, и потом еще долго-долго-долго.

юлия винер

о деньгах, о старости, о смерти и пр.

(стихи 1985–1995 гг.)



Издательство **ALPHABET** 192 стр. Цена 30 шек.

Книгу можно купить по адресу: J.W., P.O.B. 2725, JERUSALEM
Можно также заказать ее по тел. № 02-6231563

Мордехай (Михаил) Зарецкий

СВЕТЛЕЕ СВЕТЛОГО

И там, где нет людей, старайся
быть человеком.

Гиллель

Я спустился по широкой роскошной лестнице – когда-то мраморной: бывший дом курского генерал-губернатора – на первый этаж и вошел в предбанник.

Бабка все валялась на топчане, прикрытая застиранной драной простыней: третьи сутки не забирали. Утром подработал на ней трешку.

Поспорили с Сашкой Каминским, моих лет. Ему на зоне оттяпали две трети желудка, так он стал впечатлительным. Короче, спустились с ним сюда, и я сдернул простыню.

Сашка первоначально впал в транс, потом восхитился:

– Как куколка...

Я дернул ее за нос, прикрыл простыней, и тут же, в коридоре, Каминский выплатил штраф.

В бане под ледяным душем стоял дед из неврологии и выл благим матом. Он стабильно издавал аналогичные звуки, бродя по этажам, причем здоровый член его болтался из пижамной ширинки. Та процедура, что он сейчас проделывал, была для него единственным средством, приносящим некоторое облегчение.

В тесной кладовке за помывочным отделением лампочка не предусматривалась. Я зажег спичку и осветил дверь во двор. Потом раскрыл большой складной нож и им сбросил толстый ржавый

крючек снаружи. Нож этот я приобрел несколько лет назад после одного малоприятного инцидента в вагоне-ресторане пассажирского „Москва – Кривой Рог“.

Я пересек в потемках Дружининскую прямо по сугробам, так что пришлось выковыривать снег из высоких польских сапожек. Взломал, как и в бане, ножом калитку и, пройдя по террасе дома, позвонил в дермантиновую дверь теткиной кухни.

На кухне сидел на табуретке брат деда, полковник Шехтман. Я поздравил его с 23 февраля, тетку тоже: у нее день рождения. Тетка в ответ поздравляла меня с особенным пылом:

– Это тебе сегодня пришло, – она протянула открытку из военкомата. – Мама бежала принести...

Я поел фирменного теткиного гуляша, потом сказал ей оставить нас с дядей Федором одних.

– Тут написано „офицеру Советской Армии“. Они что, возвращают, наконец, погоны?

– Это месячные курсы для белобилетников, – ответил полковник. – Получишь младшего лейтенанта...

– Им еще в Москве было четко сказано: две звезды – и никаких переговоров. И потом: это – Афган?

– Я видел твою характеристику с военной кафедры... Сумел к ней подобраться... По крайней мере, будешь офицером. Хотя, это по твоему желанию...

– Ясно, дядя Федор.

– Подумай: оттуда, может, доберешься до твоей тети Марьяны...

– Я подумаю... Еще раз с праздничком. Спешу.

В кинотеатре им. Щепкина, который находился точно напротив больницы, повторяли „Погоню“ с Робертом Редфордом и Марлоном Брандо. В конце фильма, если кто помнит, толпа избивает до полусмерти шерифа-Марлона Брандо, пытавшегося передать в руки правосудия беглого зэка-Редфорда; самого же Редфорда „законопослушные“ вообще аннулируют.

„Куколка“ пребывала на месте. Воняло: крысам захотелось попитаться. Я поднялся на второй этаж, на посту у моей палаты на 12 человек было пусто. Это хорошо: а то Алка, поначалу относившаяся ко мне, скромно выражаясь, благосклонно, теперь

взяла за моду врываться в палату с воплем „заткните ему рот!“ На ней, несмотря на юный возраст, пробу некуда было ставить – и то „трансильванские“ обороты рыжуху доставали.

Я вынул нож из пижамной куртки и положил в ящик тумбочки. Потом разделся и лег под одеяло.

Крест покоился на груди под футболкой под горло; я купил его в начале сентября в костеле в Лиэпае: сказали, он священ Папой. Если б не футболка, были бы весьма вероятны разные вопросы со стороны хроников из палаты. Впрочем, они быстро усвоили, что с „воином-трансильванцем“ лучше не связаться. Холециститник путал все карты.

Похоже, братик Рома, трудившийся в главном отделении данного „здравучреждения“ на Глинище, слегка проболтался. Слишком любил он мягкие задницы сестер, терял интеллект. Так или иначе, все здесь знают – и это в тот момент, когда я уже плеснул хромпика в дерьмо в спичечной коробочке. Дядя Федор – романтик: можно добраться без глупого Афгана до Джейн Фонды.

Этот драный холециститник храпел как свиное стадо. Он-то и рывкнул в обед на всю палату: „Служить не хочешь!“ Это когда бедные язвенники занимались своим прямым делом: требовали отправить наши „доблестные“ части в Гданьск (Каминский поддакивал).

До этой пузатой свиньи я засыпал хоть на несколько часов. Как и в предыдущие ночи, пару раз крикнул ему перевернуться на бок – но у него-то сон был здоровый, так же как и храп. Мне надоело, я взял польский сапожок и левой рукой метнул его через всю палату по диагонали.

Поросятина прекратилась на минуту, потом возобновилась. Я пошел за сапогом и разглядел на стене возле холециститной башки дырку величиной со здоровый кулак.

А он умный: вовремя повернул кумпол. Подошва полиуретановая...

Я достал нож, раскрыл. Надел сапожки, потом чуть приоткрыл дверь палаты: свинина, как уже понятно, лежала у стенки. Рас-тормошил за жирное плечо.

Холециститник раскрыл лупатые шары. Сталь жизнерадостно сияла в луче электрического света, потом я дал свиноферме

почувствовать заточенный кончик ее на горле, под скулятником. Свинья издала нечленораздельные звуки ужаса.

– А ну-ка, встать!

Он оказался доблестным служивым: приказ исполнил точно.

– Смир-рна! В коридор шаго-ом марш! Левай, левай, левай!

Внизу я приказал ему ночевать с „куколкой“ до утра. Тетка дала красные яблочки, я почистил одно ножом, скушал и, под мысли о Джейн Фонде, крепко заснул.

Наутро меня вызвала завтерапией Алла Петровна.

– Прибыл твой анализ, – она смущенно смотрела в стол. – Реакция Греггерсена положительная, диагноз подтвердился. Мы передадим в военкомат...

После довольно длительной паузы она набралась смелости и подняла на меня глаза:

– Ты окончил такой институт... Сам больной человек... Ты знаешь, что родственники Тимофеева хотят подать на тебя в суд?..

– А сам он хочет?

– Он уже выписался... Не долечившись... Скажи, тебе не стыдно?..

– Он мешал мне спать.

– И только? Он ведь человек, больной человек...

– Если храпит как свинья – значит, не человек. Он тракторист какой-то – вот и храпит как свиноферма...

– Трактористы сеют хлеб, который ты ешь... У нас народное государство...

– Народ – это которые храпят?

Врачиха подавила смех.

– Откуда у тебя нож?

– Вы сами сказали: необходимо чистить фрукты от кожуры. Чтoб не раздражать слизистую желудка...

Опять пауза. Затем:

– Иди... Не знаю, что родственники Тимофеева думают...

Я вернулся в палату. Почистил красное яблочко, скушал. Потом раскрыл Козьму Пруткова на первой попавшейся странице:

М и л о в и д о в
(тем же тоном)

Итак, нашего Ивана Семеныча уже не существует!.. Все, что было у него приятного, исчезло вместе с ним!..

К н. Б а т о г - Б а т ы е в
(шепелявя, с присвистом)

Я знал его!.. Мы странствовали с ним в горах Востока и тоску изгнанья делили дружно.

Я спрятал книжку в тумбочку и стал снова думать о Джейн Фонде. „Хороша Маша, да не наша“, – думал я...

Как выглядит ангел смерти и куда исчезают надоевшие жены,
убийство премьер-министра при помощи каббалы
и секреты преуспевания бизнеса –

читайте в новой книге

Я К О В А Ш Е Х Т Е Р А

**ШАХМАТНЫЕ ПРОДЕЛКИ
БИСКВИТНЫХ ЗАЙЦЕВ**

«Это – нетривиальная проза...»

– считает Дина Рубина.

«...Богом дарованный талант...»

– пишет Анатолий Алексин.

«...Шехтер возвращает нас к главному, во имя чего вообще существует истинная литература...»

– утверждает Эфраим Баух.

«Он любит и умеет искать свое слово...»

– отмечает Григорий Канович.

230 страниц, 25 шекелей

Заказы по телефонам: 08-9457588, 050-927768

Рита Бальмина

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ К АНГЕЛАМ

Мой ангел, я тебя любила
И потому не родила.
Слащаво пахнет пастила
В слюнявой полости дебила,
Он походя плюет мне в душу,
Потом уходит на носках,
Чтоб ангел, сизый от удушья,
Зашелся на моих руках.

Но бывает еще больней:
Жгут жгуты до синих полосок –
Это зверем взревел во мне
Недоскребанный недоносок.
Он породой не вышел в знать.
Смою с рыльца пушок пыльцы,
Раз его не желали знать
Все родные его отцы.
И не выросло ничего
На бифштекса кровавой ране.
Это я кромсаю *его*
В разухабистом ресторане,
Где ухой от заморских тун
Шатко выстелен пол пологий.
Околеет совесть-шатун
Вдалеке от пустой берлоги...

Мой ангел сизый, голубь сизый,
Почтовый... скорый... электричка
Ведь у тебя была сестричка:
Горячий ком кровавой слизи.
Мой голубь сизый, почтовый, скорый
Глядит на землю небесным взором,
Перелетая державу ту,
Где Волга впадает в кому и нищету,
А в Каспийское, о чем не писал Расин,
Закачивают керосин.

Смотрит сизокрылый мой
Из-за облака домой.
Сквозь протекший потолок
Видит клочок семейных склок,
Видит маму, видит папу,
Видит: кошка лижет лапу.
Это значит, будут гости
Веселей, чем на погосте.
Это - пойло, это - жрачка,
Это - „винт“, а тут - заначка...
Это вовсе не „гестапо“
Убивает маму с папой.

P.S.

Я кружусь в танце
В большом хороводе
Со своими нерожденными детьми.

Вера Горт

БЕЛЫМ БЕЛО... О ТОМ И ПЕСНЬ

1

Ты неинтеллигентно зол, ездок, – опешь!,
ошеломись собой!, перелиставшись вчуже.
Не трафь зазря блатной бузой молве досужей!
По вечерам твой холл, экс-бог, гол-обезлюжен, –
как прежде – яро, позарез – друзьям не нужен, –
ты стертой пуговицей сдернут с фрака дружбы,
отщелкнут за город, в межсосенную плешь.

Предсумеречный лес распят гвоздями стужи.
По алым комьям снега клан вороний тужит.
Дуэль – палачество, а ты не прав – хоть режь!

Жорж – юн. Умильным доводом обезоружен,
притормози вожжой, стопой, – скомандуй!, ну же!

В дому – неласковость промеж женой и мужем.
В снегу – прицел выходит косо неуклюжим, –
стой!!!, а не то – даст сонм расщепов в брюхе брешь,
соча кровавую строку в поэму лужи.
Наглядна письменность нутра. Твой русский – глубже.

2

Не лги, ни в жизнь ты не лишил бы Натали
из ревности (*беда ль? – ржет по углам прислуга*) –
кого б, к примеру? – да ее лосенка! – (*вьюга
его вметнула в лабиринт Санкт-Петербурга,
ржаная – с рук ее – им сжевана краюха...*), –
боясь ее обиды, слез, испуга,

как всякий аристократического круга:
дичок ей люб? – что ж.., се ля ви.., ты нехристь ли?, –
натаскивая пистолет на шепот „пли!“,
палить в ее ровесника и друга,
влюбленного врасплох, чтоб тот – казнил тебя,
обузного, как хворь, крепостника-супруга, –
хребет поэзии попутно подрубя.

3

Взвесь: поутру забеспокоится впросонках
ядренный выводок – в льняную масть – ребят.
Ведь у тебя их – как у льва – четыре львенка,
впритык по штуке – на колени, руки. Срок
святой возни вам не истек! Не корчь сатрапа!

„Нянь!“ – спросят – „Встал ли раненый? – вечор прилег...“
Та – в рев: „Будь лысый дед – восьмидесяти трех..,
ан – тридцати восьми!.. крупнокурчавый папа!..“

4

Одно лишь честь: отринуть серость. Сер – свинец.

Подъедь к оттаптывающим у рыхлой глади,
в твой бок не глядя, – плац в пятьсот квадратных пядей!,

скажи, что ты – на самом деле – не каратель
двух, потревоженных одно другим, сердец –
и третьего – в медовый месяц – блеклой Кати
(твой враг – ей мил!..) – и что на смерть жаль время тратить.

Забыл? – бил снайперски, но – стоик и мудрец –
тебя сберег, не взяв на мушку спеси ради,
тот фронтовик, чьей беглой Анны ты – предатель:
избыл, любя.., а был любим! – зван под венец! –
так ею вызнан, читан, чтим, гож счастье дать ей!..
Прости...

5

Собою ошарашься, наконец!
Брось на авось свой дом! – пусть с видом на дворец
и пусть отлучка от родимого порога

близка по сути Моисеевой – от Бога,
не ввязывайся все в ход вещей, в хор слов –
пусть разбираются!, кивок – и будь таков.

„Банальная“ – ощерись, поэт, – уступка
Вселенной...“ – слышь? – всплакнувшей таянием снегов,
цена неброское изящество поступка.

6

Пожалуйста!, повори коней на юг,
хоть долгий сирый путь не больно пуст и пресен:
негаечный прогон сквозь строй народных песен!,
чья вражья безупречность – ух! – не спустит с рук
ни скудный рост, ни профиль странного обвода,
ни, вследствие чего, – страсть к пасмурным погодам,
ни зряшность упоенья бальным переходом
от кринолина к кринолину молодух..,
как с упованием на чуткий Божий слух –
от колокола к колоколу – Квазимодо...

7

Тебе знаком, но всякий раз – экспромт – Кавказ:
от тонкоиглых крон до монолитных баз –
твоим проникнется, тебя голубя, горем,
припав к твоей щеке дельфиним боком голым,
взамен вколдовывая в душу мир и лад,
даря, в расслой слюды пускающее корень,
голубоокое растение цикорий;

твой подбородок, локоть, помысел и взгляд –
себя укротно приютят в замшелых лунках,
как скрипки – в замшевых футлярах, дятлы в дуплах,
унывшие хулиганы – на поручках;

твою упряжку остановит местный князь,
ползамка отведя тебе, полнеба;
„Чередованием твоих согласных – нега
такая правит!, словно рукописи вязь –

впрямь продолжение предплечевого нерва“, –
похвалит, грустному смущению не внемля;
вопросов – ноль, стол яств, постели пух и бязь,
стелаж шедевров... – ас!, упрек не в бровь, а в глаз:

под недописанным тобой пустует полка!

8

Ты – повод для чужих стишков дурного толка
о редком паиньке – тебе – при остальных:
пустых, мол, подлых, черных кровью... (автор – псих!),
о ней.., мол, свойской в кодле их... (пиитша – телка!), –
из-за тобою не погашенного долга
словесность-нищенка берет у всех подряд!

9

Царь льнул в приятели к тебе, на плагиат
твоих гримас польстясь и реплик... Прост стократ,
дешевый парадокс – в твоих перстах – снаряд:
в таких взыскательных – так незамысловат.

10

Хоть ты в повальной нервотрепке виноват,
тебя – исчезни – хватится твой стольный град.

И днесь иском ты каждым сотым на планете!

Чуть сметан быт, утыкан саженцами сад –
с твоих ноздрей гнут загогулины оград
в апофеоз чутья, тончайшего на свете,
твоими ямбами, чтя меткость, говорят
об осени, зиме, весне, любви и лете.

11

Ты проклял, ты облек нас каверзной судьбой:
терзаться хаосом, не пронятым тобой,
лишь из каретных окон ўзренным снаружи,
вскользь зашифрованным в тетради черновой;

„...в начале было слово...“ – скопом столь же нужных

слов!, слов!, недосколоченных в фалангах дружных,
твоих!, не ставших друг за другом в конный строй,
нас мучиться обрек, как полунемотой.

Тобой Не Спетое торопится – с лихвой
разжиться песней. Гений да не бьет баклуши! –
зане потомок отвечает головой:

сырец, запруживая нам глаза и уши,
ломаюсь в трахеи безалаберной гурьбой,
заклиниваясь в них торцами – вразнобой
торчащих строк, в столбцы не сбитых (некем!), – душит.

12

Ты – вечный пыточник, мосье!, – ханжа и сноб!, –
а мнительные, изжевав кротами тему,
подскажут иудейке мне, мол, – юдофоб!,

но – так блаженно.., – так с пеленок.., так по гроб..,
что, если в дебрях псковских елей и дубов
тебя занесший опрокинется сугроб,
при мне, – недолго быть тебе заиндевелу
(а веруют: своя рубашка – ближе к телу!), –

освежевавшись, одна скребнув по целу,
расправив стянутый с себя жилой покров,
в полученный скафандр, пока горяч и нов,
сиречь – спасителен!, – вопну тебя по лоб,
бескожной кистью путаясь в знакомом чубе,
парным мясцом познав, что мир щемящ, как Шуберт,
пока доставят нам бинты, вино и шубы.

13

Как я? – Да черт со мной! Мерси, нездешнегубый!

Твое перо хранит твой бывший домовый
в стеклянном кубе, словно холя рыбку гуппи.

Январь на улице. Будь добр, езжай домой!

Макая в мякоть клякс, сиреневых по белу, –
грех – ничегонеделание!, – каюсь, – к делу!!!

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Калман Кацнельсон

Калман Кацнельсон родился в России в 1907 году, репатрировался в 1923 году, с 1928-го он журналист ревизионистского толка. Наиболее известные его книги: „Кризис современного иврита“ (1960) и „Ашкеназская революция“ (1964).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КРИЗИС В ИЗРАИЛЕ И БУДУЩЕЕ РУССКОГО ГЕТТО

Элита второй алии, тысяча сельскохозяйственных рабочих, были главными строителями Государства Израиль и основателями партии Авода. Группа нищих, в подавляющем большинстве своем, пацифисты-толстовцы, для которых равенство было высшей общественной ценностью, стали краеугольным камнем рабочей партии, представляющей теперь верхние слои еврейского населения. Те слои, материально состоятельные и высокообразованные, на которых держится большая бюрократическая и военная машина Государства Израиль, общества с самым большим расслоением, с неравенством самым высоким среди стран западного мира.

Другая группа основоположников, группа ревизионистов, организовалась в парижском кафе в 1925 году. Это была группа сионистов правого уклона, разгневанных нарастающим господством рабочего движения в сионизме. Большинство из 28 основателей и разработчиков ревизионистской программы отвергали идею еврейского государства как главной цели из опасения, что это оттолкнет от них сторонников либерально-сионистского движения, и Жаботинскому понадобилась вся сила его убеждения, чтобы навязать им свое мнение. Основатели верили, что смогут добиться большинства в сионистской организации, что возглавляющий груп-

пу Жаботинский возобновит свой союз с Англией, которая установит в Эрец-Исраэль просионистский режим, способный быстро организовать еврейское большинство и привести к созданию еврейского государства. Реальность разбила эту иллюзию так же, как она рассеяла иллюзии рабочего движения. Бейтаровцы, члены ЭЦЕЛа и ЛЕХИ отчаянно воевали с англичанами бомбами и гранатами, а потом из этой русско-еврейской интеллигенции, как ни странно, выросло представительство широких народных слоев, по большей части бедняков и выходцев из стран Востока.

Огромный разрыв между объявленными целями и достигнутыми результатами, между вчерашними стремлениями и действительностью подталкивает израильское общество к кризисным ситуациям. Происходящие у нас огромные изменения являются плодом, в первую очередь, превратностей мировой политики. Вступление Турции в Первую мировую войну оказалось решающим толчком для всех последующих событий. Турецкая империя развалилась, Англия получила в награду мандат на Палестину, а с ее уходом еврейский ишув провозгласил создание Государства Израиль. Общественные движения – основатели, – рабочее движение и ревизионисты выработали методики приспособления к изменяющимся международным условиям, спасли еврейский ишув от уничтожения после ухода англичан и образовали Государство Израиль.

К международным изменениям, определившим судьбу и образ еврейского ишува, добавились изменения внутренние как результат собственной еврейской инициативы. Самым важным из этих внутренних изменений был переход от языков общения традиционных для евреев, главным образом идиша и ладино, к современному разговорному ивриту. Переход на иврит был самым весомым вкладом сионизма в историю, возможно, более весомым, чем все остальные вместе взятые. Современный иврит – это продукт второй алии, вдохнувшей жизнь в язык священного писания и молитвы, превратившей иврит в разговорный язык творческой и смелой группы людей. Эта группа сверх того бремени, что определялась жизнью в Эрец-Исраэль под властью турок, приняла на себя также бремя быть „подопытными кроликами“, т.е. быть объектом и субъектом эксперимента по переходу от двух замечательных языков общения – идиша и русского – к экспериментальному языковому инструменту, поначалу несовершенному и неполноценному.

Только во времена Первого храма иврит был для евреев единственным языком общения. Уже в эпоху Второго храма в сферу общения вторглись международные языки - арамейский и греческий. Обширная религиозная литература написана на арамейском, а в последующую эпоху на арабском. Идиш был разговорным языком евреев Восточной Европы почти тысячу лет, а ладино для евреев Балкан и Турции - пять столетий. Ученые называют около дюжины разговорных языков у евреев галута. В каждой из стран галута разговорный язык складывался как смесь местного языка страны с ивритом и арамейским. Все эти языки считались кошерными и легитимными до тех пор, пока деятели второй алии не заклеили их как негодные и не даровали свидетельство о кошерности одному лишь современному ивриту.

Вторая алия была плотью от плоти еврейской общины Восточной Европы. Неужели идиш был недостаточно хорош, чтобы служить языком общения для нескольких тысяч человек второй алии, и в первую очередь, для тысячи сельскохозяйственных рабочих? В этом не было никакой объективной необходимости, и только специфические соображения тактики навязали второй алии требование превратить современный иврит в язык разговорный и одновременно с этим навесить на все другие разговорные еврейские языки, и в первую очередь на идиш, ярлык запрета и пренебрежения.

Лидеры второй алии, вожди еврейско-русского социализма, репатриировались в Эрец-Исраэль в период кризиса в русском социализме, а в результате этого и кризиса еврейско-русского. Поражение царской России в войне с Японией привело к революционным событиям 1905 года с широким общественным брожением, которое растерянный царизм был не в состоянии подавить. В 1907 году оправившийся от потрясений царизм усилил репрессии. Русский социализм ответил усилением экстремизма. Эпоха демонстраций протеста прошла, и пришло время революционности более жестокой и эффективной. Марксизм начал укрепляться.

Выдающиеся деятели еврейско-русского социализма пришли к заключению, что сложившиеся в России условия исключают всякую надежду на успех, и репатриировались в Эрец-Исраэль. Давид Бен-Гурион - в 1906 году, Берл Кацнельсон (не родственник автора) - в 1909 г., Ицхак Табенкин - в 1910. Все трое объясняли этот шаг как перемену места своей социалистической деятельности и перенесли ее из Минска, Киева и Двинска в Эрец-Исраэль.

Еврейская социалистическая общественность России, вожди и руководители русского социализма видели в этой алии дезертирство слабохарактерных людей, которые участвовали в борьбе лишь до тех пор, пока она не требовала жертв, но сбежали, когда последовательный революционер рискует попасть в тюрьму или быть сосланным в Сибирь. Сбежали, чтобы кормиться от филантропической благотворительности барона Ротшильда и быть прихвостнями у сионистских богачей.

В ходе этих беспощадных нападков вторая алия решила, что нет никаких шансов на поддержку и симпатии со стороны еврейско-русского социализма, и что поддержка, помощь и покровительство придут только со стороны буржуазного сионизма, ставшего неотделимой составной частью консервативного еврейского общества – общества, опирающегося на синагогу. Такая стратегия включала наведение мостов к синагоге и разрыв с российско-еврейским социализмом и судьбами еврейства Восточной Европы. Отказ от идиша и переход на современный иврит очень хорошо служили этой цели.

Условия для победы иврита сложились идеальные. Самый большой конкурент – идиш – был сметен Катастрофой. Страна оказалась в плену у иврита, и теперь каждый израильский еврей платит за это свою цену. В начальной и средней школе ТАНАХу отводится намного больше времени, чем это необходимо для приобретения знаний о древней истории, и делается это для того, чтобы изучение ТАНАХа служило дополнительным поводом для освоения иврита. Разумеется, это делается за счет светских дисциплин, за счет других предметов. Главной целью языка является создание общности понятийной, эмоциональной и поведенческой, трансформирующей себя в общность культурную и функциональную. Такая общность, существующая в развитых культурах и особенно в исключительно высокой степени – в восточно-европейской еврейской культуре, в израильском обществе отсутствует, т.к. иврит как инструмент диалога между человеком и его Богом и одновременно как инструмент для повседневной жизни людей, верующих, что такой диалог действительно существует и определяет их судьбу и образ жизни, – это полнейшая утопия для гражданского общества в конце двадцатого века.

Вопросы языка занимают заметное место в истории народов западного мира. В средние века, во времена религиозной культуры,

языком образованной части общества, в первую очередь церкви, монастырей и канцелярий монархов, была латынь. В переходный период к новому времени латынь отошла на второй план, и ее место заняли разговорные языки, на которых создавалась классическая литература, заменившая литературу религиозную. В России церковнославянский язык был вытеснен разговорным русским, на котором написана исключительно высокого уровня литература, величайшая из литератур девятнадцатого века.

Сионизм пошел в противоположном этой мировой тенденции направлении, перестраивая иврит в язык разговорный, и результатом является современный кризис.

Разговорный иврит наложился на иврит прежний с целью изменить его сущность, его душу, чтобы заставить его перестать быть инструментом, служившим евреям Первого храма, основа культуры которых - прямое повседневное общение с Богом, и превратить его в инструмент, служащий современному гражданскому обществу. Это была дерзость, граничившая с манией величия, вера в свою способность изменить мощные исторические инструменты, специфические для своего периода и способные служить тому периоду, и только ему. Это была смелость, свойственная мании величия, но она победила благодаря исключительно благоприятным политическим и общественным условиям. Изменение со временем этих условий обрекает иврит на короткую жизнь, дни его господства и высоких достижений будут гораздо более короткими, чем надеются его сторонники.

Культура, построенная на разговорном иврите, на ТАНАХе как главном инструменте культуры, на беспрецедентном освящении земли, на варварски высокомерном пренебрежении к галуту, к двум тысячелетиям жизни в изгнании, культура с такой основой является культурой религиозной, даже если она провозгласила себя гражданской. В борьбе с изначальной религиозной культурой она неизбежно проигрывает. Ее возможность привлечь и ассимилировать в себе нерелигиозного еврея очень низка, и результат влияния ее на него не добавляет ничего к его прежней культуре, а, наоборот, ведет к атрофии, к износу этой культуры, к декультуризации.

Владение ивритом на уровне, соответствующем владению европейским языком, требует двойного и тройного времени учебы. Сила иврита как инструмента объединения евреев, приехавших

из разных стран, их переплавки в новую общность очень невелика. Это язык аристократический и секторальный, отказывающийся усваивать иноязычные слова и очень нерешительно открывающий ворота своей крепости чужим словам. В древнем мире великими инструментами международной культуры были греческий и латинский языки, в современном мире - английский, испанский и русский. Идиш заслуживает того, чтобы быть присоединенным к этому списку, но сионизм вынес этому языку смертный приговор.

В течение трех поколений евреи Эрец-Исраэль видели в иврите волшебный инструмент, способный разрешить все проблемы самоидентификации и единого общества, и это убеждение позволяло им отказываться от всех ценностей, созданных ими в галуте. Этот период уже закончился, и мы испытываем все более сильные угрызения совести за свое отношение к евреям галута в годы Катастрофы и за варварское попрание их культуры. Позиции иврита ослабли. Английский язык врывается в науку, в общественную жизнь и в экономику. Владение английским является обязательным условием успешного продвижения в нашем обществе. Существует прогноз, что в 22-м веке многие израильтяне будут предпочитать ивриту английский в качестве разговорного языка из-за усиливающейся левантизации, стертой национальной самоидентификации и деградирующей культуры. Этот прогноз не кажется утопическим.

В условиях, когда иврит сдает свои позиции, левантизация может быть остановлена только с помощью культурного плюрализма, возвращающего уважение к великим ценностям галута: идишу, русскому языку, европейской литературе по еврейской теме и творчеству еврейских писателей. Исход борьбы между левантизацией и ее торможением зависит от русскоязычной алии. Неужели вы выбросите на свалку свою еврейско-русскую культуру, огромную главу участия евреев в истории России за последние столетия? Неужели сдадитесь на милость ивритскому истеблишменту, подобно тому, как сдались ему некоторые представители идишистской культуры?

Судьба сегодняшнего русского гетто - вот вопрос будущего. Недостаточно сохранять за стенами гетто сокровища еврейско-русской культуры. В полной мере ощутит Израиль весь вклад русской алии, когда сабры (уроженцы Израиля) выучат русский язык и впитают с его помощью еврейско-русскую культуру. Только мост

культуры обеспечит глубокое вращение в общество, а не поверхностное и техническое объединение. Если такой культурный мост не будет построен, то следующее поколение русскоязычных репатриантов ожидает неуклонно возрастающее материальное богатство и постоянно усиливающаяся самоизоляция и высокомерие со всеми опасностями, которые эти явления с собой несут.

Самым важным достижением современного иврита являются сабры - уроженцы Израиля, для которых иврит является родным языком. Сабра - это не тот вундеркинд, идеальный еврей нового типа, о котором мечтали основатели государства. Однако у него есть существенные отличия от поколения отцов. Сабра превосходит своих родителей по своим способностям как солдат, как работник физического труда, в своих инициативах он широко применяет технические средства, и на этом выросла израильская промышленность высоких технологий. Но наряду с этими преимуществами у него отмечается драматическое снижение способностей интеллектуальных, художественных и общественных. Четыре поколения сабр в исключительно благоприятных условиях не выдвинули из своих рядов писателя, лингвиста и политика, равного по уровню отцам в классической литературе, в знании еврейских источников и в способностях к политике и общественной деятельности. В последние годы среди сабр наблюдается тенденция отказа от изучения в университетах иврита, иудаизма и еврейской истории и предпочтения технологии, экономики и права. Молодые историки, обнаруживая в ходе своих исследований факты поражений и человеческих слабостей, развеивают мифы отцов, но не открывают новых путей. Большие партии, созданные отцами, бывшие продолжением крупных структур Восточной Европы, хасидских образований и организаций сионистов и социалистов, разваливаются, а попытки сабр создать новые большие партии общественного консенсуса проваливаются одна за другой. Впитанная с молоком матери отрицательная оценка галута дает сабрам ощущение аристократизма, отдаляющего их на расстояние световых лет от корявого галутного еврея. Но преобразование идеологической аристократии в общественную элиту требует от сабры реальных действий, смысл которых в том, чтобы привести корявого галутного еврея в Израиль, укоренить его в эту землю и построить для него государство. Десятки лет сабра верил, что он строит гражданскую культуру, но теперь к своему удивлению он видит, что он построил культуру,

которая по своей сущности религиозна и является этапом на пути превращения Израиля в государство Галахи, во второй Иран. Так разваливается мечта создать оригинальную сабровскую культуру, и это толкает страну к кризису, из которого не видно выхода.

Историческим экзаменом для рабочего движения и новой израильской культуры была в свое время возможность спасти миллионы евреев, подняв восстание против англичан. Рабочее движение и израильская культура отказались от этой возможности, ограничив себя только защитой ишува - еврейской общины Палестины. Создание Государства Израиль стало только временным взбадривающим впрыскиванием, не способным залечить глубокую рану предательства галута, рану открытую, кровоточащую и сейчас. В этом ядро поразившего рабочее движение и израильскую культуру кризиса, выхода из которого в обозримом будущем не видно. Израиль ждет новой элиты.

Эдуард Бормашенко

ДВЕ ПОЛОВИНКИ ПРАВДЫ

Встречаются Агнон и Сол Беллоу. Агнон спрашивает: „Сол, тебя переводили на иврит?“ „Нет, но на дюжине других языков издавали“. „Так побеспокойся, чтоб перевели, остальные что-то уж слишком быстро исчезают“.

Читая Калмана Кацнельсона, понимаешь, что сто лет для нашей истории - не срок. Бялик и Элизер Бен-Йегуда - с пылом бы втянулись в предложенную полемику о судьбе иврита. И все же еврейскому мышлению совсем не свойственно сваливаться в дурную бесконечность. Нет нового под Солнцем, но у времени есть начало и конец, предотвращающие обесмысливание истории при ее циклизации.

Нажимая на роль речи в формировании структур мышления,

Калман Кацнельсон попадает в общий ток философской мысли XX века. Современная философия и вообще педалирует значение языка: „сам язык заражен программированием, за правильно выстроенной фразой маячат власть и организация, ненасильственной может быть только „антисистематическая речь“ (Делез), лишенная субъекта и адресата“. Цитируемый В. Бибахин, пожалуй, крупнейший современный русский философ концентрирует в своих работах усилия, предпринятые ранее Хайдеггером, Лосевым, Витгенштейном, Фуко по осмыслению ключевой роли языка в познании. Кажется, каждый из столпов философии XX века высказался по поводу языка. Язык из послушного и гибкого инструмента превращается в неподвластную ее обладателю силу, смирительную рубашку мышления, хвост начинает вертеть собакой и диктовать ей каждое следующее движение.

Роль иврита в „сакрализации“ еврейской жизни, современном религиозном ренессансе, не представляется мне завышенной. В самом деле, где иврит – там Танах, а где Танах – там уже и до черного халата и штраймла недалеко. Любопытно другое: упущенный шанс секуляризации видится Калману Кацнельсону в утраченном идише. Но милый уху Калмана Кацнельсона (и моему!) идиш сохранился как живой язык как раз только в тех общинах, где облачаются в столь ненавистные светскому Израилю лапсердак и штраймл! Попытки сохранить „маме лошн“ в клубах любителей идиш абсолютно безнадежны, ибо сама мысль о том, что что-либо, доставшееся нам от предков, надо почему-то непременно сохранить, исключительно религиозна, никакую секулярную метафизику под нее подвести невозможно.

Истолкование нами событий в решающей степени зависит от изначально принятой (часто по умолчанию) историософской позиции. Мудрые люди говорят, что чудеса цивилизации: холодильники, стиральные машины, пелефоны – дар Всевышнего слабому поколению. Сегодняшний чахлый сын Адама просто не смог бы без них выжить. Возрождение иврита, при принятии подобной концепции, – тоже подарок слабакам, которые были бы не в состоянии выучить „неразговорный“ (не осмелюсь назвать его мертвым) язык. А ведь еще сто лет назад любой ешиботник с легкостью овладевал еще и арамейским (при отсутствии современных словарей, переводов Штейнзальца и т.д.).

Стоит обратить внимание на то, что знание „мертвых“ языков

всегда было прерогативой аристократии. Кто кроме богатого мог себе позволить роскошь овладеть абсолютно бесполезным сокровищем латыни или греческого? Еврейская культура в доступном нашему проникновению прошлом была одновременно аристократической и массовой. Фиксируемый Калманом Кацнельсоном кризис ивритоязычной секулярной культуры очевиден. Собственно говоря, ничего страшного в кризисах нет, всякий живой организм им подвержен. Дело однако не в кризисе израильской культуры, подсвеченном „закатом Европы“. Суть в вытеснении аристократической европейской культуры массовой. В XX веке культурологи открыли феномен сосуществования двух культур, думаю, что они всегда сожительствовали: наивность лубка и утонченность культурных изысков избранных. Однако никогда кич не заглушал напрочь изящные искусства.

Странное послание направит XX век грядущим поколениям. При взгляде на него из не слишком далекого будущего бросится в глаза тотальное истребление аристократии (не всегда физическое, чаще выраженное в предельном падении ее общественного престижа). С этой точки зрения капитализм, нацизм и коммунизм равно преуспели. Немудрено, что исчезновение утонченных форм искусств не заставило себя долго ждать.

Почти единственной аристократией современного мира, позволяющий себе роскошь „жить как хочется“ остается религиозный Израиль. Хиппи, конечно, тоже „живут как хочется“. Но подлинный аристократизм кроме идей избранности и свободы включает в себя непременно компонент ответственность, которой обычно лишены левые подрыватели устоев буржуазного общества. Исполненная ответственности перед Вс-вышним, сдавленная ограничениями жизнь еврея (нередко предельно, опять же, аристократически нищая) оставляет ему широчайший простор общения с любимыми книгами. При этом идиш и арамейский абсолютно органично входят в жизнь без спецусилий по их сохранению, будучи неотъемлемой частью образа жизни и таким образом становясь фактом культуры. Смещаясь в сторону музеев, искусства движутся к смерти; великая европейская культура, все прочнее обосновываясь в спецхранилищах, похоже последует-таки скорбному пути, предсказанному Шпенглером. Согласно Эриху Фромму, конструктивная ориентация человека всегда биофильна, в этом смысле религиозный еврейский ренессанс - понятное следствие тяги к

живому. При этом аристократическая еврейская культура изначально пригодна быть народной. Маршалльский жезл гаона всегда лежал и лежит в ранце любого ученика хедера. Но признать именно в ней спасение от духовного погрома людям с темпераментом Калмана Кацнельсона так же трудно как и в начале столетия.

Иррационально предпочтя Израиль Уганде, иврит идишу, сионизм уже тогда сделал свой религиозный выбор. Снявши голову, по волосам не плачут. Я вовсе не против приобщения масс к идишу, русскому языку и культурному наследию галута. Но я боюсь, что упорное сохранение последней русской алии языка – вовсе не факт культуры, а движение по линии наименьшего сопротивления. Огромная часть прибывающих так же далека от Толстого и Достоевского как и от Танаха. Стены гетто могут охранять как культуру, так и бескультурье. Призывы поднять роль русской культуры так же полезны, как и постановления ЦК КПСС о повышении удоев. Нельзя приказать культуре быть живой.

В работе Калмана Кацнельсона звучит и некая непривычная для классической сионистской литературы нота: требование радикальной переоценки исторической роли галута. Я сразу же готов здесь согласиться с автором, у меня нет ни малейших сомнений в творческой продуктивности огромного периода еврейской истории, породившего Талмуд, „Море Невухим“ и хасидские предания. Боюсь, однако, что последовательная переоценка значимости рассеяния приведет к результатам, первоначально не предусмотренным пламенным сионистом. Оценка исторической роли диаспоры – критическая точка в сионистском сознании. В самом деле: если галут – период сплошного мрака, страданий и духовной деградации, то напрашивается немедленный вывод, что раввинское руководство не справилось с возложенной на него миссией и „нормализация“ еврейского народа – насущнейшая из задач. Если же, напротив, изгнание – период высочайшего духовного накала, породивший самое Талмуд и талмудическую литературу, и зафиксировавший величайшее из чудес света: сохранение безземельного еврейского народа в предельно враждебном окружении, то выходит что раввины недурно управились с отведенной им исторической ролью, и не слишком ясно, подлежит ли „нормализации“ народ Рамбама и Раши. Между прочим, европейские культурологи давно реабилитировали средневековье, никому не придет теперь в голову прилепить к нему ярлык „века мрака“.

Истина, конечно, никак не может сводиться к наклейкам: „хорошо“-„плохо“. Но наши оценки оказываются существенно связанными с изначально занятой историософской позицией. Как и в случае с идишем, ешиботника не приходится убеждать в необходимости переоценки галута. Восприятие культурного феномена всегда вплетено в оценку нами прошлого и представление о будущем. И то, и другое едва ли могут быть обоснованы рационально. Пока не слишком ясно, возможно ли существование такого феномена, как секулярная культура. Теорема существования тут еще не доказана. Меня как и Калмана Кацнельсона равно страшат две химеры: омассовление и американизация еврейского народа с одной стороны и „иранизация“ с другой. Но мне ясно и то, что культура с усеченной сакральной компонентой, урезанным религиозным измерением обречена говорить пласкости и в конце концов свалиться в кич. Просто по невосполнимости специфического религиозного духовного усилия, не подлежащего никакой замене.

Во времена „хаскалы“ к воложинскому мудрецу пришел просвещенный еврей и попытался озадачить его вопросом: в Талмуде сказано - „чтущий иврит удостоится мира грядущего“, между тем в религиозных общинах идиш вытеснил святой язык. Именно мы, сказал он, „маскилим“ возрождаем иврит, выходит мы правее. Верно, ответил, цадик, но, как всегда, вы приводите лишь половину цитаты. На самом деле в Талмуде говорится: „чтущий иврит и произносящий „Шма“ утром и вечером удостоится мира грядущего“. Из двух половинок правды не слепишь одной истины...

Владимир Ханан

ЗАПИСКИ СВЕЖЕПРИБЫВШЕГО

КЛАЛЬ ИСРАЭЛЬ

В начале 1990-го года я три месяца провел в Нью-Йорке. Несколько раз собирался пойти к Любавичскому Ребе Менахему Мендлу Шнеерсону, но так и не собрался. Он принимал в опреде-

ленные дни по утрам, а я человек ночной – в общем, не получилось. Так я упустил шанс увидеть живого Машиаха. Спустя несколько лет, уже здесь, в Израиле, я посетовал на это в разговоре с одной своей старой знакомой, принадлежащей к „харедим“ литовского направления. „Не горюй, – сказала она, – ты не много потерял“.

Однажды, проходя по еврейскому кварталу Старого Города, я увидел передачу по телевизору – телевизор был вынесен из магазина, по-видимому, принадлежащего хозяину-хабаднику – я увидел передачу о Любавичском Ребе, к тому времени умершем и провозглашенном своими исследователями Машиахом. Передача была из Америки. Там еле живой Шнеерсон стоял в каком-то помещении у большого сосуда с вином и наделял этим вином проходящих мимо него людей. Людей было множество, все мужчины. Одеты они были как Менахем Мендл – черные шляпы, черные костюмы с белыми рубашками без галстуков. В помещении стоял ровный веселый гул, сопровождавшийся приветственными, по-видимому, кликами. Никакого комментария за кадром не было. Я помню, как один красивый рыжеватый еврей, пройдя мимо Ребе и получив свою дозу вина, выпил ее и, крикнув что-то явно веселое, засунул в рот четыре пальца и оглушительно засвистел к полному одобрению всех присутствующих, включая и самого Ребе. Думаю, что если бы это видела моя знакомая, о которой я упомянул вначале, она не стала бы даже комментировать увиденное. Она бы только сказала: „Ну, ты сам видишь“.

Ничего не скажешь, в такого Машиаха мне, репатрианту из Санкт-Петербурга, литератору и историку, поверить трудно. Все мое образование, вся моя начитанность, которые я не склонен преувеличивать, – весь этот набор российского полуинтеллигента затрудняет мне возможность влиться в ряды последователей этого направления иудаизма. Однако, появилось уже нечто, не дающее мне также стать решительным его противником.

Здесь, в Израиле, я встречаю много людей, гордящихся своей высокой – на фоне среднего сабры она выглядит еще выше – культурой, вывезенной из России. С этими людьми я говорю на одном языке (разумеется, не со всеми), мы прочитали одни книги, смотрели одни и те же фильмы и т.д., и т.д. – разница, пожалуй, только в том, что я яснее, быть может, чем многие, вижу пробелы в этом образовании и недостатки в этом багаже, и, главное, – абсолютно не склонен всем перечисленным выше гордиться. И

уж совершенно исключено для меня почти общепринятое в этих кругах пренебрежительное отношение к местным евреям, сплошь и рядом действительно не ориентирующимся в мире этих наших русскоязычных – европейских, христианских ценностей. За те два года, что я живу на Земле Израиля, мне, слава Б-гу, ни разу не пришла в голову мысль нести свет нашей высокой культуры в толщу темных аборигенов и тому подобное. Всмотриваясь здесь в людей своего народа, я думаю о том, как мне понять их и, в каком-то смысле общую с нами культуру, о которой я, и это для меня очевидно, знаю мало, значительно меньше, чем о культуре многих народов, мне не родственных и не близких. Еще в Америке, первой за границе, в которой я побывал после снятия железного занавеса, я с удивлением понял, что главным моим впечатлением, абсолютно неожиданным и неожиданным, оказались евреи. То же, с меньшей уже степенью неожиданности, но в большем, так сказать, масштабе, повторилось в Израиле. Я смотрел, удивлялся и не уставал поражаться этому народу, к которому я, оказывается, тоже принадлежу. Еврей по отцу и по матери, по всем четырем бабушкам и дедушкам, я там, в Америке, и здесь, в Израиле, смотрел на евреев, не имеющих ничего общего с евреями, которых – не в очень больших, надо признаться количествах – я видел в Ленинграде, в Москве – в России. Крайне редко – по пальцам можно пересчитать – это были торговцы и ремесленники (портные, часовщики). Как правило, это были – сначала, в детстве и юности, – инженеры, учителя, врачи; в молодости и далее – литераторы, вообще, гуманитарии. Среди них всех не нашлось бы ни одного человека, которого я посчитал бы способным швырнуть камень в машину с людьми или хотя бы просто свистнуть в четыре пальца. Приходится признать, что мое знание о своем народе было, как минимум, неполным. Осудить нетерпимость какой-то его части, к тому же проявляющуюся в таких грубых формах (метание камней и тому подобное), очень легко, все культурные люди вас поддержат. Труднее, но, как мне кажется, правильнее, попытаться их, эту часть народа, понять, что принесло бы значительно больше пользы всем.

Если мы с вами, интеллигентные „олим ми Руссия“ отставим в сторону на время „национальную гордость великороссов“, нам придется признать, что мы не только мало знаем о культуре (и немалой) своего народа, но еще меньше знаем о его жизни, ибо

никогда не жили в его толще, никогда не жили национальной жизнью. Конечно, нам, интеллигентам российского разлива (очень неслучайно здесь это слово), кажется, что это вообще устаревшая, некультурная, в чем-то даже стыдная установка – жить национальной жизнью. Мы, разумеется, свободнее, шире, мы интернационалисты, черт возьми, как всякий культурный человек. Но если мы присмотримся к этому всякому культурному человеку – не еврею, то увидим, что помимо общекультурных ценностей, этому человеку не чужды также ценности национальные, разумеется, без шовинизма. Что культурный француз, немец или даже почти не встречающийся в сегодняшней жизни культурный русский основательно (и в первую очередь) прописан в национальной культуре. И что в движении по дороге, по которой идут национальные культуры, под флагом последовательного и принципиального интернационализма идут одни только галутные евреи, иногда, правда, с израильским уже паспортом.

Каждый из нас знает, и многим случалось произносить (я, например, произносил) слова Юлиана Тувима, донесенные до нас Эренбургом, о крови, которая „не в жилах, а из жил...“ Слова о том, что он (и мы с ним) еврей тогда, когда нас преследуют. В спокойные (нам кажется, что они бывают) времена – мы русские, поляки, французы и т.д. Вот это и есть главная характеристика нашего еврейства.

Я никого не обвиняю: такова была наша история, таковы были обстоятельства. Однако здесь, в Израиле, обстоятельства совершенно иные. Здесь недостаточно той нашей СОЛИДАРНОСТИ с еврейским народом, здесь мы сами и есть еврейский народ (народ, а не единицы в инородном окружении), здесь мы живем – хотим мы этого или нет – национальной жизнью, и от нас в значительной мере зависит ее качество. Это качество зависит, главным образом, от того, насколько мы понимаем (стараяемся понять), что же это такое – национальная еврейская жизнь. Конечно, неприятно (а то и страшно) смотреть на здорового дядю с пейсами, мечущего камни в „субботнюю“ машину на проспекте Бар Илан, но давайте подумаем, только ли избыток темперамента двигает его рукой. Иудаизм – религия, во имя которой он совершает свои, как ему кажется, праведные и правильные действия, есть религия одного, и при этом маленького народа. Это не может не влиять на длину, так сказать, дистанции между членами этого народа. В

отличии от христианства (ислам я знаю значительно хуже), где главной определяющей веры является вертикаль „человек – Б-г“, в иудаизме не менее важной является горизонталь „человек – человек“, точнее, „человек – люди“, „еврей – еврей“. У христианина нет потребности в миньяне, у еврея – есть.

СOLIDная часть интеллигентных, а лучше сказать, считающих себя таковыми (ибо и здесь, в Израиле, продолжается российская путаница в понятиях „интеллигент“ и „ИТЭЭР“ (инженерно-технический работник). Интеллигентность и образованность репатриантов, обладающих завидной, не израсходованной на прежней родине энергией и общественным темпераментом, реализует их в той, едва ли не единственной, области израильской жизни, которая кажется им абсолютно понятной – в борьбе „против религиозного засилья“. Но понятность этой, в действительности существующей проблемы отношений светского и религиозного Израиля, только кажущаяся. Новый репатриант, со всем пылом поборника демократии (как правило, только-только перешедшего под ее суровые знамена из привычных объятий социального конформизма) кидается в чужую, на самом деле, драку, истоки которой ему известны плохо. Естественнейшим образом (в вузе он проходил историю КПСС, а не историю сионизма) плохо ориентируясь в мозаике израильской политической конъюнктуры, он оказывается участником борьбы социалистического, в не такие давние времена прокоммунистического, Израиля с религией, бывшей с самого начала серьезной помехой в деле строительства еврейского социализма. На стороне, естественно, первого. При этом, следует заметить, что об иудаизме, как и вообще о еврейской культуре, он знает на удивление мало – значительно меньше, чем, например, о христианстве и русской культуре, что, впрочем, в полной мере относится и к автору этих строк.

Таким образом, я подчеркиваю это, речь идет не о том, садиться или не садиться в машину в шабат и носить или не носить пейсы. Речь идет только о том, что всем нам следует, по возможности избавившись от вывезенных из России агрессивности и злобы, постараться разобраться в том, какой страной мы хотим видеть нашу новую родину – Израиль и чего мы хотим от его народа. Совершенно ясно, что это разбирательство надо начинать с себя. Прежде всего, нам нужно объяснить себе, что устраивало и что не устраивало нас в России. Если вы помните, русское диссидент-

ское движение в основном состояло из евреев. Из евреев, борющихся за демократизацию русского общества. Если подробно перечислять то, чего нам не хватало, то выяснится, что ВСЕ ЭТО, подчеркиваю, ВСЕ, было социально-политическими свободами и благами, которыми пользовались граждане Швейцарии и Великобритании, но не, скажем, исламского Египта или буддийского Таиланда. Нам надо объяснить себе, что нашим общественно-политическим идеалом является устройство и общественный климат западно-европейских христианских стран. Это естественно. И хотя Россия, по моему глубокому убеждению, не является христианской страной, ее культура – а это то, что мы с вами больше всего в ней ценили и любили – была (по крайней мере, до недавнего времени) ориентирована на западно-европейскую, откуда она черпала и этические и эстетические ценности.

Чего здесь, в Израиле, нам не хватает больше всего? А больше всего нам не хватает именно той культурной атмосферы, в которой мы жили в России. Конечно, это не единственная наша проблема здесь. Есть еще дискриминация со стороны всевластного племени пакид-чиновников. Есть еще безжалостный грабёж со стороны кабланов, посреднических, по существу рэкетирских, фирм „коах адам“ и квартирных хозяев, среди которых, заметим, столь ненавистные нам „харедим“ как раз отсутствуют. Однако именно против них, а не против перечисленных выше направлена наша страстная борьба. Что деньги! – их у нас и на доисторической было не густо. Быт? – не такое уж большое внимание мы на него обращали. А эти, с пейсами, отнимают у нас главное – нашу надежду жить так же, в той же культурной атмосфере, в которой мы жили – и как жили! – в России. В атмосфере русской и европейской культуры, в которой мы ориентировались, как правило, увереннее титульной, как принято говорить, нации, что давало нам право (которым мы благородно не пользовались, но давало, давало) смотреть на нее свысока. Кто помнит, если не в школе, то уж в институте наверняка, самые красивые девочки кучковались вокруг еврейских мальчиков – несомненной элиты группы. И все-таки мы уехали. Уехали потому, что, поговорив с приятелем о Прусте или выйдя из кинотеатра после фильма Феллини, мы оказывались на улице среди помятых, пьяных, тупых и агрессивных лиц; брали с боем общественный транспорт, в котором нельзя было проехать две остановки без скандала, проходили мимо нарисованных на

стенах свастика; слушали вечные толки о „жидах, которые все украли и все съели“... Короче говоря, если мы трезво, последовательно и честно разберемся со своими чувствами, то выяснится – я в этом не сомневаюсь, – что наш идеал страны, в которой мы хотели бы жить, – это Россия С ЕЕ ВЕЛИКОЙ КУЛЬТУРОЙ, НО БЕЗ РУССКИХ (кроме, конечно, наших друзей). И соответственно – БЕЗ ЕЕ АНТИСЕМИТИЗМА. И в этом тоже, я полагаю, нет ничего странного. Странное начинается тогда, когда мы начинаем требовать реализации нашего идеала от Земли Израиля, которая всегда, всю свою историю от начала до сего дня стояла на совершенно других основаниях. То, что современную цивилизацию Западной Европы и США называют ИУДЕО-христианской (мы с удовлетворением это слушали и повторяли), означает только указание истока этой цивилизации, давно уже в своем развитии отклонившейся от собственно иудейской ее части.

Даже если бы история Израиля развивалась по-другому, даже если бы его население образовывали волны алии только ашкеназийской – из России, Польши, Германии и т.п., – даже и в этом случае, я думаю, Израиль не стал бы второй Россией, ибо и в ашкеназийской среде было достаточное количество верующих иудеев, а уж после массовой репатриации в Израиль евреев из арабских стран об этом вообще не приходится говорить сколь-нибудь серьезно. Позволю себе невеселую шутку. Если жить в России с душевным комфортом нам мешали русские, то здесь, в Израиле, тому же самому мешают... евреи. По забавной иронии судьбы мы – интеллигентные евреи из России, – оказались в Израиле в роли русской дореволюционной интеллигенции, которую внимательный и умный русский еврей Гершензон назвал „сонмищем больных, изолированных в родной стране“... („Вехи“).

Вывод, который я из этого делаю, состоит в том, что борьба „против религиозного засилья“ в том ее виде, в котором она сегодня ведется, полностью бесперспективна, если не считать перспективой еще большее размежевание и, соответственно, ослабление нашего народа. Следует – и другого выхода нет – переходить к диалогу не сегодняшнего уровня, когда удачным его результатом считается договоренность о поддержании статус-кво, а к диалогу, стремящемуся к сближению позиций, каким бы проблематичным ни казалось это сближение. От диалога идеологического – к диалогу, позволю себе слово из неполитического

лексикона, РОДСТВЕННОМУ. Серьезной, ответственной альтернативы такому диалогу нет. Что же касается выбора, стоящего перед каждым отдельным человеком, задумывающимся о судьбе страны и о своей собственной, то он таков: понять, что ты живешь в среде своего народа, а не с „марокканцами“, „эфиопами“ и „тайманим“, и постараться понять его во многом непривычную для нас жизнь – или быть обреченным на существование вечно-раздраженного инородца-апатрида. Есть, разумеется, и третий путь – йерида.

Если вернуться к Любавичскому Ребе – это не первый Машиах в нашей истории. Были еще и Шабтай Цви и Иешуа А-Ноцри, – и все они уводили за собой не единицы, а многие тысячи евреев. Сейчас, когда я вижу почти на каждом шагу портреты Любавичского Ребе М.М. Шнеерсона с надписью „Машиах“, я думаю не о том, какие фанатики или какие малограмотные люди его ученики и последователи, а о том, какое страстное ожидание Машиаха живет в сердцах немалой части нашего народа. Однажды я прочитал о том, что для верующего еврея любая эпоха, в которой не отстраивается Храм, является эпохой разрушения Храма. Вдумайтесь, вокруг нас – и по Меа Шеарим, и по Яффо, и по Бней Браку, и по улице Шенкин ходят люди, наши современники, которые сегодня, сейчас (в отличие от нас с вами) оплакивают разрушение Храма. Я был на еврейском митинге в Нью-Йорке – против русского фашизма, я видел там религиозных евреев, которые со страстью говорили о Катастрофе, которая в их сознании (опять-таки, в отличие от нашего), произошла вчера, унеся шесть миллионов жизней их родных. Их реакция на антисемитизм и фашизм была живой и горячеей, куда живее и горячее, чем у российских евреев, пассивно ожидающих (опыт Германии их ничему не научил) погромов от расплодившихся, как блохи, русских фашистов.

Нам, испытывавшим „солидарность“ со своим народом от раза в год до раза в десятилетие, просто неизвестна, следует это признать, психология еврея, всю жизнь прожившего национальной жизнью – прожившего как еврей. В Израиле, глядя на старые фотографии в домах родственников-сабр или в газетах, я испытываю странную ностальгию – по своему детству, не бывшему еврейским, по энтузиазму и энергии своих юности и молодости, ушедших без всякой пользы для моего народа в русский песок.

Нет, у меня нет гордости носителя великой русской культуры, у

меня есть большое сожаление о том, что мои еврейские родители, дедушки и бабушки не научили меня ничему, что следует знать каждому человеку о своем народе. Спокойно и доброжелательно глядя по сторонам, я испытываю не гордость, нет, но только чувство благодарности к камням и воздуху Иерусалима, земле Израиля и жестоковейному его народу за то, что они дали мне способность, не очень еще развитую, понимать своих соплеменников, – как ждущих Машиаха, так и тех, кто, по их убеждению, его уже дождался.

КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ

Как-то раз, за год-полтора до репатриации, я зашел по личному делу в гостиницу „Пулковская“ – одну из лучших, к слову сказать, в Ленинграде, незадолго до того построенную финнами. Мое личное дело работало в баре, перемещаясь по нему на исключительно красивых и соблазнительных, как мне тогда казалось, ножках. В тот день огромный холл гостиницы и близлежащие бары были плотно забиты толпой людей, производящих странное (хотя только на первый взгляд) впечатление. Все они были приблизительно одинаково одеты (неизменная кожаная куртка – похоже, что даже одного фасона), одинаково пострижены, с одинаковым присутствием в экстерьере мобильного телефона и отсутствием печати интеллекта во взоре. „Сходняк, – решил я, – по-видимому, предстоят какие-то разборки“. На следующий день я прочитал в газете, что накануне в „Пулковской“ состоялся съезд ленинградских предпринимателей. Так что я видел именно их, но даже задним числом не удивился.

Спустя короткое время произошел еще один эпизод. В крайне расстроенных чувствах к нам пришли дочка с мужем, в то время уже оформлявшие документы на отъезд в Израиль. Их состояние было близко к панике. Дело было вот в чем. К ним подошел сосед по коммунальной квартире, в которой они занимали одну комнату, и предъявил ультиматум. Два слова о соседе. Это был молодой, как кажется, абсолютно не задетый воспитанием и образованием мужик, по-видимому, только-только превратившийся из „лимитчика“ в полноправного ленинградца (получив комнату в указанной квартире), но уже успевший пройти „свои университеты“

на тернистом пути вrastания в капитализм. Однажды ему удалось – судя по всему, случайно – что-то очень задешево купить и задорого (причем, в солидных количествах) продать, получить немалый капитал, поместить его в следующее дело, полностью прогореть – в результате каковых перипетий наш сосед остался ни с чем и в описываемый момент поправлял свои дела национальным способом, т.е. ушел в глухой запой, из которого выныривал ненадолго и не полностью. Ультиматум же его состоял в следующем. Мои дети должны были, уезжая, оставить свою комнату ему (а не прописанной в ней моей жене), а если они этого не сделают, то он сотворит с ними такое, „что сам Иван Васильич от ужаса во гробе содрогнется“ (Пушкин, – это я уже от себя). Проблема вырисовывалась нешуточная, я стал думать, что делать. Вариант с милицией отпадал сразу. Помимо того, что российская милиция давно уже представляла собой банду, самое умное, что я мог там услышать, это – „вот когда он что-нибудь сделает, тогда приходите“. А чтобы никакой Станиславский не сказал мне на это „не верю!“, вставьте во все промежутки между словами матюги, и это уже будет стопроцентная адекватность. Было ясно, что обращаться нужно только к бандитам, и я стал искать на них выход. Мой зять, однако, сообщил данную информацию также своему отцу, и проблема решилась быстро и с блеском. Отец работал в какой-то частной структуре. Он обратился к своему боссу, босс проявил сочувствие и проблему снял. Чтоб вы знали, как это делается (мало ли что...). Он (босс) обратился к своей „крыше“ – своим бандитам, те обратились к бандитам, контролирующим район, где жил наш ультиматист, выяснили, что тот живет и пьет горькую сам по себе, и защищать его никто (не милиция же, в самом деле...) не будет. Мой сват со своим боссом приехали вдвоем к нашему экс-бизнесмену и поговорили с ним (я точно знаю, что не прибегая к физическому насилию) жестко и авторитетно, после чего обидчик-неудачник стал здороваться с моими детьми издали и со всех ног бежал открывать перед ними дверь. Вскоре он вообще съехал с квартиры, и еще месяцев через пять-шесть я узнал, что он умер во время запоя. Поскольку он уже не представлял угрозы, я искренне, хотя и не долго, о нем пожалел.

Я рассказал о том, что знаю лично и подробно. Подобных случаев, рассказанных родственниками и знакомыми, родственниками знакомых и знакомыми родственников, могу привести еще

мешок. Все вместе это свидетельствует о невиданной до сих пор (незнакомой ватикам, да даже репатриантам „большой алии“) криминализации российского общества. Как и - главное - почему это произошло? Прежде всего - и, я думаю, с этим никто не станет спорить - она явилась следствием перестройки и демократизации (здесь перо спотыкается, выписывает зигзаги, однако, выравнивается и настаивает), да! демократизации, - ибо, несомненно, реальная власть в стране перешла от немногих к многим, - российского общества. Однако, если мы посмотрим с холодным вниманием вокруг, мы увидим, что подобная ситуация не является обязательным следствием перехода от тоталитаризма к демократии. Разумеется, замена полицейского режима демократическим дает свой криминальный эффект, однако ни в одной из посткоммунистических стран ситуация даже близко не подходит к российскому „беспределу“. При этом нельзя не заметить, что криминогенная ситуация в Польше, Венгрии и Чехии, а также в Эстонии, Латвии и Литве (которую я хорошо знаю, ибо бывал и жил в ней не по одному разу в год с 1962-го года по 1995-й) ухудшилась во многом за счет гостей из братских России, Украины и Белоруссии. Во время перестройки я особенно часто ездил в Литву, главным образом в Вильнюс и в „свою“ деревеньку Лишкяву, потому, во-первых, что все процессы сдыхания „старого прижима“ (говоря словами Щукаря) там были нагляднее, а во-вторых, потому, что ожидал ее - Литвы - отделения и набирал впечатлений в запас. Разница в подходе литовцев и русских к перестройке - имея в виду увеличение количества социальной свободы личности во всех видах ее деятельности - была наглядна и разительна. Литовец не кинулся в костел, ибо и не выходил из него во все времена - и репрессий и оттепелей (состав присутствующих на мессе всегда был идентичен составу толпы на улице: такое же количество стариков, взрослых, подростков и детей). Но в смысле материальном - литовец кинулся зарабатывать. После разрешения на частный извоз, Вильнюс оказался заполнен частными такси, везущими за те же деньги, что и государственные и с тем же - хорошим - уровнем обслуживания. Возвращаясь же в Ленинград с чемоданами книг (ах, где ты, моя библиотека?!), я становился на Варшавском вокзале в километровую очередь к такси, и перестройка сказывалась лишь в том, что значительно большее количество „частников“ подходило к очереди - уже не боясь - и предлагало

свои услуги по совершенно грабительским ценам. Литовец ринулся зарабатывать, русский рванулся урывать и воровать. Приблизительно так же дело обстояло и в деревне. Из наблюдаемой мною – по обе стороны границы – мозаики фактов сам собой складывался главный факт, он же вывод: успешность перехода от сгнившей экономической системы так называемого социализма к экономике рыночной определяется в значительной степени (если не на все сто процентов) ментальностью населения страны, где этот переход происходит. Я уже не помню (а в связи с переездом боюсь не найти выписку), кто из „великих“ сказал о том, что характер народа напрямую зависит от его системы верований, короче, от религии, которую он исповедует. Запомним это.

В журнале „22“ № 110 польская журналистка Я. Френтцель-Загорска в статье „Итоги перестройки в Центральной Европе“ пишет об удачном опыте перехода от тоталитаризма к демократии и рынку в трех странах: Польше, Чехии и Венгрии. Цитируя Бальцеровича – „отца“ польского варианта „шоковой терапии“, сыгравшей положительную роль в сравнительно быстром преобразовании польской экономики, она приводит – по пунктам – проблемы, которые было необходимо решить в этой связи и которые, как мы все знаем, были решены. Желających узнать подробности я отсылаю к этому номеру журнала. Однако при этом я не сомневаюсь, что Егор Гайдар, пытавшийся осуществить в России то же самое, я имею в виду „шоковую терапию“, мог бы сформулировать свои задачи и проблемы с не меньшим блеском. Сформулировать – да, а осуществить – нет. С моей точки зрения его политика была ошибочна, хотя он, по моим представлениям, следовал в ней тем же образцам, что и куда более удачливый Бальцерович. С моей точки зрения не менее ошибочной была и система приватизации Чубайса, человека не менее, чем Е. Гайдар, образованного и, судя по всему, редкостного, блестящего организатора. Не сомневаюсь я также в том, что экономическая политика Явлинского, если ему доведется „поругать“ Россией (а почему бы и нет?) будет столько же „успешной“ и столько же – соответственно – ошибочной. И Явлинский и Бальцерович (ведь можно же его пригласить) и вызванная из гроба тень „отца“ „немецкого (разумеется, ФРГ) чуда“ Эрхарда ничего не смогут сделать с российской экономикой (в смысле ее подъема), ибо непредвзятому наблюдателю давно уже понятно, что в этой экономике экономические законы,

работающие во всем цивилизованном мире, не работают. Не работают - и все.

Я специально написал слово „в цивилизованном“, а не во всем мире, так как есть еще страны, организованные сходным с Россией образом. Например, Заир, чьи недра буквально нашпигованы полезными ископаемыми, да не банальным каменным углем, а алмазами и ураном - самыми дорогими в мире продуктами. Когда его население до 1960-го года обходилось минимумом материальных благ, это можно было сваливать на проклятых, в данном конкретном случае на бельгийских, колонизаторов, после же победы (не без российской, как всегда, помощи) национальной власти на кого теперь возлагают вину за полное и окончательное обнищание населения местные Проханов-мамба-тумба и Баркашов-дубудубу? Надо думать, на происки неокolonизаторов и, вестимо, на нашу маленькую, но зловредную родину. Собственно, пример с Заиром вовсе не анекдотичен. Самую точную, стопроцентно верную характеристику современной России дал один из немногих умных, порядочных, а, главное, реально смотрящих на нее людей, Алесь Адамович, сказавший: „Россия сегодня - это Верхняя Вольта с баллистическими ракетами“. И в его и в моем случае отнюдь не случайно для характеристики России упоминается африканская страна.

Довольно давно, гадая об исторических путях тогдашней страны моего проживания, я задумался вот о чем. На каком человеческом чувстве стоит, иначе говоря, на какое человеческое чувство опирается любая, без исключения, тоталитарный режим? Ответ находился не далеко. Это чувство - страх. А на какое человеческое чувство опирается, стоит, как на фундаменте, демократия? И здесь не приходится долго гадать. Это чувство - ответственность. Возникает закономерный вопрос: „Возможно ли построение режима, главным компонентом которого является чувство ответственности, - в обществе, где это слово знакомо многим, а само чувство - никому?“ Если перевести этот вопрос в иную терминологию, то наш вопрос будет звучать так: „Возможно ли построение общества западно-европейского образца, основанное на ценностях иудео-христианской цивилизации, в стране и в народе, с этими ценностями не знакомыми?“ И это не преувеличение. Конечно, в России есть по-настоящему ответственные люди - человек десять (смерть А.Д. Сахарова резко это число сократила), т.е.

речь идет только об исключениях. Во всю свою историю Россия ни к о г д а, ни одного дня не востребовала от своих жителей - равно от холопа и министра - ответственности, но всегда требовала от них подчинения, основанного на страхе, что сформировало четкую, генетически закрепленную систему взаимоотношений власти и подданных. Посмотрите, как обычный русский человек воспринимает демократизацию и „демократов“ (приходится, истины ради, брать это слово в кавычки, ибо не назовешь же настоящими демократами продажные перья вроде Бовина или Боровика или так и оставшегося типичным секретарем обкома Ельцина). Они говорят „при демократах“ так же, как „при Сталине“. То есть, при царе-тиране Сталине было так, а при царе-демократе Ельцине - так (значительно хуже). Идея, что жизнь „при демократах“ - это жизнь „при них самих“ даже близко не подходит к их головам. Я сегодня вспоминаю слова покойного диссидента В. Максимова о том, что он не стал бы бороться против Советской Власти, если бы знал, к какой разрухе приведет ее падение. Он был мне мало симпатичен, но его слова мне понятны и не кажутся абсурдом, ибо не свободы он хотел для своего народа, а благополучной жизни, которая, как это сейчас оказалось, а единицам было ясно и раньше, никак с этой самой социальной свободой не сочетается. Во время реформ „Царя-Освободителя“ обретение политической и социальной свободы огромным количеством россиян привело к такому повальному пьянству сих освобожденных, что оно впервые приобрело черты национальной проблемы. Массовая алкоголизация населения дала, естественно, и криминальный эффект, но полиция, как и все прочие институты государства, стояла на страже, так что ситуация в этом смысле оставалась под контролем. Нынешние реформы, которые, кстати, тоже сопровождаются усилением народного пьянства, дали свой эффект - по причине паралича правоохранительных структур - главным образом в сфере криминала. Один общий момент объединяет эти периоды: свобода, получаемая как дар (все реформы - сверху), воспринимается как дар непрошенный и потому неудобный. Его неизменный эффект - используемость во зло. Заметим здесь, что, по нашим наблюдениям, еще только в одном регионе мира ситуация напоминает российскую. Этот регион - Черная Африка (именно там процветает Верхняя Вольта). Дорвавшиеся до свободы аборигены превратили ее в нескончаемую (почти на четыре десятка лет) кровавую

вахханалию, так что те, кто еще помнит времена „проклятого колониального прошлого“, вспоминают его, как золотой век.

Сторонники „третьего пути“ развития для России, всегда не блещущие интеллектом, особенно по части „интеллектуальной честности“ (если не ошибаюсь, Ницше), даже и не подозревают, насколько они правы, особенно в части названия (которое, правда, скоро придется поменять). Конечно, все их толки об „евразийстве“ не выдерживают даже самой снисходительной критики еще с тех пор, когда разработкой этой сказочной теории занимались более грамотные, чем нынче, разработчики. Никакого моста между европейской культурой, до сих пор не усвоенной русским сознанием, и культурой Востока, из коей Россия вполне усвоила только мат, русская культура образовать не в состоянии. „Третий путь“ на деле может означать только то, что Россия оказывается в состоянии развиваться, как страна „третьего мира“. Я вспоминаю интересную статью одного этнографа, который сказал, что когда историю России описывают в терминах христианской цивилизации, ее история полна тайн и загадок, но когда ее описывают в терминах „третьего мира“, ее развитие выглядит совершенно естественным и никаких особых загадок не содержит.

Разумеется, речь идет не о желательной перспективе (желательная перспектива одна – развитие по западному, сулящему богатство и процветание, пути – но она для России невозможна, это все ясней понимают даже русские националисты), но о перспективе возможной, следует сказать, единственно возможной, ибо все остальные для нее практически закрыты. „Третий путь“ для России – еще раз повторяю – означает, что она будет развиваться, как страны „третьего мира“ (с уходом одной сверхдержавы и ее лагеря путь и мир следует назвать „вторым“ – вот почему придется менять название), причем, даже относительно стабильное развитие исламского мира, боюсь, будет для России слишком радужной перспективой. Ибо положительной, разработанной, скрепляющей все население страны в солидарный конгломерат личностей (как это худо-бедно происходит в мусульманских странах) религии в России нет и, судя по телодвижениям Русской Православной Церкви, направленным исключительно на достижение благополучия клира, не будет в обозримом будущем. Ответственность человека и, соответственно, нации воспитывается исключительно религией, и РПЦ, не озаботившаяся этим на протяжении прошедших,

как сладкий сон, десяти веков ничегонеделания уже не сможет ничего изменить, если бы и хотела (чего с совершенной очевидностью не усматривается). Все отцы реформ, шоковой и не шоковой терапии в названных нами европейских странах опирались на современную экономическую науку, но практическое осуществление их научных выводов опиралось на подготовленное католицизмом и протестантизмом население. На население ответственное, то есть отвечающее за себя и свою судьбу. Ответственность, конечно, несколько траченая десятилетиями „социализма“, но окончательно не исчезающая никогда. Все это не имеет никакого отношения к России. И Гайдар и Чубайс, и Борис Федоров и Немцов хотели построить демократическое общество без (при наличии отсутствия) демократов и потерпели фиаско. А вот рынок они построили - как в Заире и Верхней Вольте.

Импульс, который заставил меня взяться за эту статью, был задан разговором не о российской экономике, а о российской преступности, с чего я, как, может быть, читатель помнит, и начал. Современная Россия производит впечатление государства, криминализованного полностью. 60 или 80 процентов банков под бандитскими „крышами“, полная подконтрольность криминалитету мелкого и среднего бизнеса, ужасающая коррумпированность чиновничества на всех уровнях - откуда это взялось? Где набралось столько высокопрофессиональных уголовников - возглавить и направить эти несметные полчища? Мы сейчас много читаем о „ворах в законе“, но это, скорее, монархи английского образца, чем реальные властители теневой экономики. Там сейчас куда „круче стоят“ бывшие комсомольские работники, министерские, ЦэКовские и ТАССовские дети, КГБисты и „менты“, сменившие „масть“, чем „авторитеты“ старой школы, постоянно, кстати, жалующиеся, что молодые волки не признают традиционных законов уголовного мира.

После паралича репрессивных органов, в криминал ринулись те, кто морально давно был к этому готов, но боялся. В сетях криминала, точнее следует сказать, на подконтрольной ему территории оказалась также часть людей, туда не стремящаяся, но оказавшаяся „повязанной“ самим положением вещей. Разрешенный частный бизнес (поначалу в виде кооперативов) при полном отсутствии соответствующего законодательства, более того - при законодательстве, которое де-юре делало ВСЕХ новых

бизнесменов нарушителями закона, преступниками, юридически оказался криминальным, а поскольку законодательная власть не торопилась, де-юре очень быстро и закономерно превратилось в де-факто, со всеми сопутствующими этому процессу последствиями. Точно так же власть юридическая, угрожавшая уголовным преследованием за одно только владение иностранной валютой и пооткрывавшая сотни обменных пунктов, в некотором смысле самоликвидировалась и - свято место впусе не бывает - была заменена властью фактической, соответствующей новым экономическим отношениям в стране. Прежняя иерархия: райком - горком - обком - ЦэКа быстро изменилась на: „бык“ - „десятник“ - бригадир - шеф - „сходняк“ (за терминологию не ручаюсь). Вот она - реальная власть (читатель помнит историю с коммунальной квартирой моей дочери), стоящая, к слову сказать, куда ближе к народу, чем прежняя. Вот она - демократия по-русски.

Я по образованию историк. Историк (заочное отделение ЛГУ) плохой, но кое-какие книжки читал и кое о каких проблемах упорно думал. Революции (а нынче в России несомненная революция) совершались во многих странах, не только в России, причем, механизм их протекания повсюду приблизительно одинаков: взрыв, эйфория, стабилизация, откат. Но этот откат никогда не возвращает общество на прежнее место. Что-то от революции остается и это „что-то“ всегда есть то, что - сознательно или бессознательно - отбирает для себя народ. Революция 17-го года была, по моему убеждению, реакцией русского народа на революцию Петра Первого: на вестернизацию (удар по национальному самолюбию), практическую христианизацию жизни (перенос в Россию западной системы отношений), что рассматривалось народом как покушение на основы (царь-антихрист), ибо свое кое-как притруханное христианским камуфляжем язычество воспринималось, как единственно истинное - православное - христианство. И, наконец, на демократизацию, индивидуализацию общества, начатую реформами Александра Второго. Я хочу сказать, что абсолютная криминализация страны сегодня есть реакция русского народа на демократизацию общества, увеличение никому (за редким исключением) не нужной и - соответственно - не желанной свободы и естественное для этого процесса ослабление власти.

Для того, чтобы русский народ - народ, определяющий и политический и нравственный климат российского общества - на-

учился жить в демократическом режиме, то есть, с а м о с т о я т е л ь н о, выдвигая институты, обслуживающие его самостоятельность, он должен был бы обладать нравственными и политическими традициями, которыми он не только не обладает, но о которых даже не слышал. Я не зря поставил на первое место традиции нравственные (т.е. в первую очередь происходящие из религии), а на второе место политические. Российское политическое руководство демократического - условно говоря - призыва, поучившееся у западных учителей рыночной экономике и, может быть, выучившееся неплохо, оказалось совершенно бездарным гуманитарием, откуда и все его ошибки. Ибо и это руководство, оставаясь в действительности настоящим российским продуктом, все равно, даже стоя в храме со свечкой, в душе уверено, что бытие определяет сознание, и плохо представляет себе западную систему причин и следствий. Они уже поняли, что такие вещи, как регламент, параграф и т.п., кои веками пренебрежительно игнорировала „Святая Русь“, есть необходимый компонент демократии, но они до сих пор не поняли, что есть нечто, предшествующее этому порядку. В этом смысле я не знаю ничего лучше - и характернее - надписи, выбитой на городской ратуше в Лугано: „Большое благо - хорошие законы, но еще большее благо - хорошие нравы“. Кстати, о нравах. Небогатая идея уже упоминавшихся мной „гуманитариев“, о том, что дети наших нуворишей-бандитов пооканчивают гарварды и станут цивилизованными бизнесменами (как, по их мнению, это произошло в Америке) не кажется мне убедительной. (Достаточно посмотреть на детей элиты предыдущей.) Ибо будущий род деятельности и нравственный облик нашего гарвардца определится не столько системой преподавания в том или ином западном университете, сколько нравственной атмосферой на той улице родного Отечества, где будет жить и трудиться наш выпускник. Нравы Растеряевой улицы, где он будет вести свой наследственный бизнес, очень быстро сшелушат с него приобретенный на Западе лоск. Сильный дух протестантизма, господствующий в Америке соответствующих времен, полностью контрастирует с системой предпочтений, господствующей нынче в России, где для молодого человека желанная карьера - рэкетир, а для девушки - валютная путана. Старый, затрепанный, но о многом говорящий анекдот. „Красивую молодую женщину спрашивают: „Как могли в ы, красавица, выпускница престижного

вуза, кандидат наук – стать валютной проституткой?!“ На что та отвечает: „Ну, как стала?.. Даже не знаю... А если честно – просто повезло.“

Всем вышеизложенным я хотел показать, что уже произошедшая в России криминализация общества не была и не является процессом естественного усиления уголовного элемента на фоне и по причине паралича власти, но является процессом значительно более глубоким и широким – процессом организации новой сильной власти, устанавливаемой солидарными усилиями криминального и не криминального слоев российского общества. Власти единственно понятного и желанного образца – власти, основанной на насилии. То есть не только криминалитет усиливает давление на обывателя, но и обыватель с, может быть, не слишком осознаваемым им самим удовлетворением идет под крыло – „крышу“ (многое объясняющее слово) криминалитета, чтоб там снова почувствовать себя как раньше, как всегда: под защитой – в случае игры по принятым (точнее, навязанным – но это не важно) правилам и под угрозой наказания – в случае противном. Это еще не задекларировано в Конституции (да что нам, собственно, Конституция!) и не объявлено по радио, но в стране уже появилась сильная власть, и народ ей уже подчиняется.

Сегодня на страницах печати – и российской, и зарубежной – нередко обсуждается вопрос, что более угрожает России: стать криминальным государством, вроде Колумбии, или тиранией кубинского образца. Нет смысла гадать, Россия велика: хватит там места и для Колумбии и для Кубы, для своей Боснии и своей Северной Кореи. У автора этих строк есть по этому поводу свои соображения, но не стану утомлять ими читателей данной статьи. Могу только сказать о своей уверенности, что первую (как минимум) половину первого века нового тысячелетия внимание, скажем точнее, – тревожное внимание всего человечества будет приковано к тому пространству, которое мы с вами уже привыкли называть постсоветским, а наши дети – я уверен – будут называть построссийским.

О НЕИЗВЕСТНОМ

Константин Фрумкин

СВОЙСТВА СОЗНАНИЯ И ОБРАЗЫ СМЕРТИ

Оказывается, смерти нет потому, что она уже произошла, и в каждом человеке присутствует так называемый „внутренний мертвец“, постепенно захватывающий под свою власть всю большую часть личности. Жизнь, по Антонову, – не более, чем процесс вынашивания трупа, развивающегося внутри как плод в матке. Физическая же смерть является конечной актуализацией внутреннего мертвеца и представляет собой, таким образом, роды.

В. Пелевин. «Мардонги»

Одна из особенностей человеческой культуры заключается в том, что человек много знает о том, о чем он, вроде бы, ничего знать не может. Создаются трактаты и разработанные теории об ангелах и вампирах, и возможная недостоверность существования предметов этих теорий не смущает из создателей.

Среди этих наук без достоверного предмета почетное место занимает учение о смерти. Предмет у этого учения, конечно, есть, но природа его такова, что много подробной информации о нем не может быть в принципе. Как верно заметил российский философ К. Исупов „Самое поразительное, что танатология – наука без объекта и без специального языка описания; ее терминологический антураж лишен направленной спецификации – слово о смерти есть слово о жизни, выводы строятся вне первоначального логического топоса проблемы – в плане виталистского умозаключ-

чения, в контексте неизбежной жизненности. Смерть не имеет собственного бытийного содержания. Она живет в истории мысли как квазиобъектный фантом, существующий в бытии, но бытийственной сущностью не обладающий.“*

В этих обстоятельствах само существование танатологии является проблемой, не менее интересной, чем проблема смерти. То есть отдельного исследования требует вопрос, откуда все-таки человек берет свои твердые представления о смерти – несмотря на „квазиобъектность“ и „фантомность“ последней как предмета знания. В настоящей статье мы бы хотели осветить один из аспектов этой проблемы, а именно: в какой степени структура и онтологические свойства человеческого сознания могут функционировать в качестве источника представлений о смерти.

Как говорил Леви-Стросс, „...научный праксис делает пустым для нас понятия смерти и рождения у всего, что не соответствовало простым физиологическим процессам, сделав их непригодными к передаче других значений“.** Мы, как уже можно было понять, говорим не о „природе“, не о „механизме“ и не о „сущности“ смерти. Смерть – это прежде всего пучок определенных чувств и образов, экзистенциальный страх и похоронный пафос. Сущность смерти – это немая тайна, и все, что, как нам кажется, связано со смертью – элемент жизни.

Что такое страх смерти? Страх потери жизни на поверхности есть прежде всего страх окончательного прекращения действия сознания и его отправлений – мышления и тому подобное. А представление о прекращении действия сознания нам дает сон, сон – брат смерти по греческой мифологии, это единственная данная человеку возможность наглядно ощутить себя умершим. Но вот парадокс – нет никаких доказательств, что ощущения сна имеют какое-то отношение к смерти. Наука объяснила нам, что субъект сознания – условно назовем его душой – во сне свою деятельность не прекращает. А религии уверяют нас, что и смерть тела не дает прекращения душевной жизни. Поэтому обыденное представление человека о смерти как о смерти сознания – мифично, если не ложно, и источник и суть его темны.

* Исупов К.Г. Русская философская танатология. // Вопросы философии, 1994, № 3.

** Леви-Стросс К. Первобытное мышление, М., 1994, с. 323

Но, несмотря на все это, мы с какой-то неумолимой необходимостью находим в себе образ смерти. Не имея возможности анализировать природу самой смерти, мы можем попробовать проанализировать природу этого образа.

1. Свойства сознания как источник представлений о смерти

Понятие жизни, может быть, еще более загадочно, чем понятие смерти, но все же для понимания последней оно играет решающую роль – роль контраста и противоположности. Смерть есть прекращение жизни, отрыв от нее, разрыв с ней. Для формального определения смерти таким образом нет никаких препятствий, но наполнению этого определения каким-то экзистенциальным содержанием мешает указанный Исуповым „контекст неизбываемой жизненности“. Чтобы представить себе разрыв с жизнью, надо в рамках жизни знать степени большей и меньшей жизненности – в смысле большего и меньшего отрыва от жизни, большего и меньшего зазора между субъектом жизни и самой жизнью.

И этот зазор мы находим в воспринимающей функции сознания. Сознание – наблюдатель, а наблюдатель находится как бы вне наблюдаемого. Шопенгауэр говорил, что созерцать и участвовать – не одно и то же. Но, по всей видимости, не только не одно и то же, но, в какой-то мере, и несовместимо.

Поскольку человек сознателен, постольку он находится в позе наблюдателя жизни, постольку он обладает чувством относительного неучастия в ней, относительной отстраненности от нее. Необходимость рефлексировать над жизнью отчуждает от полнокровного бытия. Есть известный антагонизм между достижением полнокровности жизни и осознанием этого. Вспомним притчу о сороконожке, которая перестала ходить, когда начала думать. И Экклезиаст повествует в своей великой книге: трудился я – трудился, делал добро, а остановился, задумался, оглянулся на сделанное – и понял, что все бессмысленно и не стоит труда. Самодовлеющее начало в сознании отвлекает на себя его интенциональность. Рефлексия как бы вытесняет отправление человеком других функций, а ведь именно оно составляет самой рефлексии ее предмет.

М. Мамардашвили в одном из своих интервью* обливает презрением и немецкую классическую философию, и вместе с ней всю немецкую нацию (ставя ей в пример французов) за то, что она не жила полноценной жизнью, а только много говорила – как жить полноценно. Величайшие образцы мышления, можно сказать, апофеоз человеческой мысли по Мамардашвили оказываются плодами не-жизни: немцы не жили, и, сознавая это, много об этом говорили. Если поверить здесь Мамардашвили, то немецкая классическая философия, казалось бы, такая сухая и бесстрастная, оказывается замешанной на муках и личных трагедиях. Впрочем, ничего неожиданного. Чем интеллигентнее человек, тем более для него характерно это недовольство собой – мол, пора бы кончить рассуждать о жизни и начать жить. Это страдания рефлексирующего разума из-за чрезмерного отчуждения от предмета рефлексии. Поневоле напрашивается афоризм: пока человек думает, он не живет.

Жить – не то, что извлекать из жизни квадратный корень, восклицает герой Достоевского. Воплощение умерщвляющего, убивающего действия сознания – схема, идеальный конструкт. Мертвая рациональная конструкция – окаменелый экскремент человеческой сознательности. Но на высоких уровнях ясности сознания самонаблюдение превращается в самоконструирование. Сознание само себя хотело бы увидеть рациональной схемой. В этом было бы окончательное выполнение задач самонаблюдения. Могут ли эти задачи быть действительно „окончательно“ выполнены? Может ли действительно все сознание „изойти“ в порожденные им же конструкты? Факты говорят вроде бы против этого. Вроде бы еще никто не умирал от чрезмерной абстрактности мышления, от чрезмерной ясности сознания, от чрезмерности самонаблюдения. Хотя – никогда не говори никогда, равно как и никто. Перед нами – лишь тенденции, лишь очерчивающие модель мнимости. Но быть может, эти мнимости говорят нам нечто важное.

Возможно, эта противопоставленность – даже проклятие, тяготеющее над человеком. Мысль о подобном проклятии, относящаяся, правда, не к индивидууму, а к обществу, находим у Николая

* Мамардашвили М. Интервью с А. Эпельбуэн // Вопросы философии, 1992 г., №№ 4-5.

Федорова. Разделенность созерцания и жизни социально выражается в распаде общества на интеллигенцию и народ, ученых и неученых. Неученые ведут бессознательную жизнь, ученые ее безучастно созерцают. Преодолению этого распада и посвящена собственно вся федоровская „философия общего дела“.

Вообще религиозно-философская система Федорова удивительна тем, что в ней присутствует аналогичное противопоставлению „жизнь – смерть“ противопоставление „жизнь – мысль“. Отвлеченная мысль – главный враг делу оживления, „воскрешения отцов“, и чем больше христианство уходило от задачи оживления мертвых (по линии православие – католицизм – протестантизм), тем больше его задачей становилось не дело, а мысль. Наконец именно отвлеченность мысли и обособленное существование интеллигенции, по Федорову, породили буддизм – религию умирания и смерти. Именно обособленность и проистекающая из нее созерцательность интеллигенции видятся Федорову главными препятствиями обращению человечества к делу воскрешения умерших.

Федоров говорит об увеличении абстрактности в отношении человека к религиозной проблематике – но одновременно этот рост абстрактности оказывается совпадающим с падением витальности в специфическом смысле, в смысле отношения к жизни и смерти. Это „совпадение осей“ не может быть случайным. Например, мы его находим в анализе соотношения иудаизма с другими мировыми религиями, проведенном Йосефом-Довом Соловейчиком.

Иудаизм, говорит Соловейчик, никогда не пренебрежет реальным ради идеального: „Отношение к трансцендентному сильно отличается у человека Галахи и обычного человека веры. У человека Галахи нет тяги к трансцендентному миру, к превосходству ясного и чистого бытия; ведь идеальный мир – средоточие интересов и любимое детище человека Галахи – создан лишь для воплощения в реальном мире“.*

Иудаизм, кроме того, никогда не пренебрежет целостностью духа и тела ради чистой духовности: „он (галахист – К.Ф.) не стремится к жизни возвышенной и духовной, корни которой –

* Рабби Соловейчик. Катарсис. Иерусалим, 1991, стр. 24.

в мире абстракций. Не дух, а физический, биологический человек, человек, увлекаемый своими побуждениями, тянущийся к телесным наслаждениям – только он может воплотить в жизнь ценности иудаизма“.*

Наконец – и случайно ли это тройное совпадение? – иудаизм предпочитает жизнь смерти: „Многие религии смотрят на смерть как на религию позитивного плана, источник и опору „чувства веры“ и религиозного сознания, и, посему, освещают смерть, мертвых, могилы как порог трансцендентного и врата мира грядущего. Иудаизм же, напротив, объявляет все, связанное со смертью, нечистым, неприязненно относится к смерти, к уничтожению и распаду. Он выбирает жизнь и освящает ее“.**

Итак, предпочтение жизни, а не смерти, с некоторой необходимостью сочетается с предпочтением целостности человека в противовес только духовному и абстрактно-трансцендентному. В принципе, объяснить это можно с точки зрения посмертной судьбы человека, ведь трансцендентное – это то, куда уходит душа после смерти, и отворачивание от трансцендентного – это отвращение от направления движения „к смерти и после нее“. Но замечательна сама двусмысленность терминологии Соловейчика. С одной стороны он говорит о трансцендентном как о запредельном рае религии, с другой – об абстракциях, об „идеальном“ в философском смысле этого термина. Возможно, эта двойственность терминологии вытекает из представлений о свойствах „духа вне тела“, „души только“ – свойствах, которые как бы объединяют оба смысла трансцендентного. Но в тоже время, мы, несомненно, должны рассматривать это совпадение понятий как намек, говорящий нам, что абстрактное и чисто сознательное обладает свойствами, делающими их похожими на что-то близкое к смерти, свойствами, напоминающими о смерти. С этой точки зрения тройная дистинкция Соловейчика согласуется с большим количеством философских, психологических и религиозных традиций.

Так, например, множество пассажей о жизнеугнетающей природе сознания можно найти в так называемой „философии жизни“. Ницше в „Воле к власти“ говорит об антагонизме между отчетливостью и ясностью сознания с одной стороны и волей как производ-

** Там же, стр. 29.

*** Там же, стр. 24-25.

ной от безотчетных, но предусмотрительных инстинктов. И в теории культуры Альберта Швейцера воля к жизни практически противоположна воле к познанию. В истории они сражаются и побеждают друг друга. Воля к познанию и воля к жизни проявляются, по Швейцеру, в частности, в философском пессимизме и оптимизме.

Отдельный „счет“ к ясному сознанию как танатогенному началу имеется у философии языка. Одно из положений философской герменевтики Гадамера заключается в том, что осмысление слова невозможно без прерывания слова как живого процесса. Рефлексия над языком и существование последнего антагонистичны. Язык как живое явление может существовать только в состоянии „самозабвенности“. Примерно о том же в свое время говорил Лосев: „Тот, кто пользуется языковыми знаками в речи или письме, ни о каких языковых знаках даже и не думает, а если он о них думает во всем их наличном многообразии, то это значит, что реальная речь прекращает у него свое существование и вместо орудия реального общения людей становится предметом абстрактной науки о языке“.*

Или вот пример той же мысли в рамках восточной философской парадигмы. Шри Раджниш: „...чем больше человек думает, тем дальше он уходит от того, что здесь и сейчас. Думать о чем-то, значит потерять с ним контакт“.**

Но, наверное, экзистенциализм с наибольшей силой акцентировал противоположность жизни и некоторых функций сознания. Камю сказал: „Стоит мышлению начаться, и оно уже подтачивает“. Киркегор, а затем Шестов в комментариях к нему, проводят идею, что человеческая мудрость – обратная сторона человеческой покорности, трусости, чувства бессилия перед несущей смерть и горе Необходимостью. И над всем этим витает дух Экклезиаста – первой экзистенциальной книги.

Достаточно очевидна некоторая противоположность между „отдаться жизни без оглядки“ и с оглядкой, т.е. рефлексией. Но благодаря чему можно констатировать эту противоположность? Разумеется, благодаря рефлексивной способности. Т.е. граница между жизнью и сознанием в известной степени является продук-

* Лосев А.Ф. Знак, символ, миф. М., 1982, стр. 122.

** Ошо. Психология эзотерического. М., 1992, стр. 134.

том самого сознания. И тут мы, наверное, получаем право на следующее высказывание: потому сознание создает напряженный фронт между собой и жизнедеятельностью (или, по крайней мере, усиливает ее напряженность), что от существования этого фронта зависит его собственное определенное существование. Только обособляясь от жизни и борясь с ней, получает свою жизнь сознание.

Последняя фраза имеет еще и тот смысл, что сознание – это, как было показано выше, не только знание себя, но и самоторможение. В естественных науках эту мысль пропагандировал Павлов. В философии в наиболее экстремальной форме эта идея выражена в теории сознания Анри Бергсона согласно его мнению функция высшей нервной системы – именно задерживание перехода восприятия в практику.

То, что улавливается философами, не может не проявляться и в мифотворчестве. Ясное сознание символизирует Аполлон – противовес Дионису. Но Аполлон – это не только и не просто свет, это еще и бог-погубитель, бог смерти (собственно, такова этимология этого имени; иногда ее связывают с солнечными ударами, о погибших от которых говорили, что они поражены стрелой Аполлона; чем не символ смерти от излишне ясного и светлого разума?). Русский мистик В. Шмаков, который анализировал древние мистические и философско-мифологические символы, не забывая при этом о новейших достижениях психологии, так комментирует образ Аполлона-Сознания: „Как ни величав он и не светозарен, он гнетет человека отсутствием сострадания, своим бездушным спокойствием, безразлично взирающим на скорби и восторги всякого существа“.* Нечего удивляться этому высказыванию Шмакова, если в его времена в учебниках психологии делались примерно следующие констатации: „...мы совершенно не можем сосредотачивать внимание на чувстве – если мы попытаемся это сделать, то удовольствие или неудовольствие тотчас же исчезает и скрывается от нас, и мы застаем себя за наблюдением какого-нибудь безразличного ощущения или образа, которого мы совсем не хотели наблюдать“.** То есть ясное осозна-

* Шмаков В. Основы пневматологии. Киев, 1994, стр. 45.

** Титченер Э. Учебник психологии. Ч. 1., М., 1914, стр. 195.

ние определенно мешает чувству полнокровности жизни с ее радостями и страданиями.

2. Кое-что об объективном познании

Пассажи о родстве смерти и ясного сознания не были бы столь убедительны, если бы рядом с ними не соседствовали указания на родство смерти и познания.

В книгах Л. Шестова (особенно в „На весах Иова“) можно найти очень интересное толкование на книгу Берейшит, а именно на эпизод с деревом познания. Прежде всего, Шестов исходит из той антропоцентристской концепции, что все базирующиеся на себе познание различения одного от другого имеют не объективный характер, а происходят от человеческого „нравится – не нравится“, „практично – непрактично“. Т.е. познание базируется на различении добра и зла. Но вот что важно: дерево познания добра и зла в раю на самом деле было деревом смерти, и Бог не лгал Адаму, когда говорил: если съешь плод с этого дерева – умрешь. Съев запретный плод, Адам стал смертным. Именно он, а не Каин, был родителем смерти. Но, став смертным, человек потерял благостное равнодушие к миру. Интересы его жизни стали критерием добра и зла, забота о них под угрозой смерти положила начало познанию. И таким образом дерево смерти оказалось деревом познания. Ясное сознание обладает смертными чертами, а соответствующий ему идеал познания требует устранения человека. Чтобы достичь объективной истины, беспристрастному аполлоническому сознанию мешают пристрастия и субъективность. Итог их вредоносной работы – антропоморфизм, то есть приписывание человеком познаваемому миру своих собственных черт. Гносеология „объективного познания“ требует дезантропоморфизации.

Например Дьердь Лукач, „самый умный из марксистов“, по определению Бердяева, разработал теорию дезантропоморфизации как проходящего через всю историю человечества процесса перехода от антропоморфного описания мира к „объективному“.

Итак, дезантропоморфизация. Человек пытается достичь полного „расчеловечивания“ окружающего мира. Человек пытается познать инобытие раньше самого себя, пытается узнать что-то, еще не зная ничего о себе, предстать объектом познания, „чистой

доской“, „гносеологическим субъектом“. Это стремление, конечно, не может увенчаться удачей и является просто одной из характеристик человека как такового. Если бы мы предположили, что человек достиг неантропоморфного познания – мечты позитивиста и материалиста, то он перестал бы быть человеком и мы бы говорили о каком-то другом существе.

Впрочем, мы знаем о каком – мертвенном и умирающем. Ведь если есть человек в мире, то как можно добиться абстрактного „мира без человека“? Только убрав человека. А человек полностью исчезает лишь тогда, когда умирает. И требование дезантропоморфизации есть требование умереть относительно живого мира. С точки зрения гносеологии смерть есть событие, когда мир преобразится и станет окончательно чужим и не похожим на меня. После моей смерти мир будет выглядеть таким, какой он есть сам по себе, он лишится черт, приписанных ему моей субъективностью. Переживание временности, т.е. ожидание смерти, есть ожидание того, как вещи-в-себе проявятся. Только смертному дано мечтать об объективном и беспристрастном взгляде на мир. Бессмертному не уйти от себя и от своей субъективности.

Косвенное чувство смертности содержит обещание абсолютно объективного, бесчеловечного взгляда на вещи. Быть может, это ложное обещание, а быть может, и чувство смертности – временности – ложно перед лицом вечности и бессмертности. Но тем не менее обещание смерти заставляет человека искать объективную, очищенную от субъективности истину. Движение к ней – движение к смерти.

Кто такой материалист перед лицом религиозной философии? Во-первых, он не верит в бессмертие души. Во-вторых, он верит в существование единственно верной научной истины. Теперь мы видим, почему два этих взгляда так часто идут в истории рука об руку. Не сказать ли, что притяжение небытия, тяга к самоубийству, ариманова прелесть, хитро преломившись и исказившись, выступают в теории познания как тяга к единственно научному знанию?

Многие мыслители говорят об отрицании человека традиционным позитивным знанием. Как сказал один современный автор, „Я“ кончается там, где начинается наука. Мы лишь еще раз обращаем внимание на сущность границы, отделяющей мир со мной от мира без меня. У нее только одно имя – смерть. Истинной наукой занимаются по ту сторону могилы. Это дело для кладбищен-

ских призраков. Но в нас сидит кандидат в призраки – сознание. И чем более оно развито, тем более призрачно.

Рефлексия – родственник смерти по линии формального, функционального определения. И рефлексия и смерть – антагонисты жизни. Поэтому в рефлексивной способности мы можем видеть дыхание смерти или, может быть, дыхание посмертного существования в живом теле. Не есть ли рефлексия – тот самый пелевинский „внутренний мертвец“, труп внутри живого тела – находящаяся внутри самого тела область „отлетания“ души от него, место потери душой контакта с телом?

3. Две версии умирания

Все наши предыдущие рассуждения доказывали то, что способность сознания к отстранению от телесности и вообще от активной жизнедеятельности может дать человеку представление о разных степенях жизненности, а следовательно, и о разных степенях приближения к смерти. Ключевым понятием в этих рассуждениях была потеря контакта сознания с жизнью. Между тем, следовало бы напомнить то, с чего мы начали, – что самое обыденное, самое распространенное представление о смерти – это прекращение действия сознания, сходное с глубоким сном без сновидений.

Сознание – наблюдатель. Мы боимся перестать быть наблюдателем. Тело вне осознания может вести лишь растительное существование, чтобы жить в полном смысле, нам нужно наблюдать. Но наблюдатель – и об этом мы уже сказали более чем много – находится как бы вне наблюдаемого. Значит, потеряв сознательность, мы лишимся этой позиции внаходимости. Из этого следует логичный, но парадоксальный вывод: страх смерти – не страх ухода из жизни, а страх окончательного погружения в жизнь без одновременного нахождения вне жизни. Идея эта прямо противоположна всем нашим предыдущим размышлениям о смертности сознания.

Мы пришли к двум разным, и не просто разным – двум точно противоположным версиям смерти. Смерть – это либо потеря контакта между сознанием и жизнью – либо, наоборот, это потеря всякой дистанции между ними.

Жизнедеятельность и сознание борются друг с другом, и победа

любой из них будет смертью. Потому что объект сознания – жизнь. И для человека бессознательная жизнь – это такая же смерть, как безобъектное (т.е. пустое, потенциальное) сознание. Жизнедеятельность и сознание – это как бы две жизни, и полное погружение в любую из них оборачивается для человека смертью. Живет же человек лишь на пересечении этих двух жизней. Человек – существо двойственное, двужизненное. Можно даже сказать – двуипостасное.

Страх смерти – это конечно не сахар, а каково жить в точке столкновения страха смерти и страха жизни? Причем смерть угрожает погружением в жизнь, а жизнь угрожает умиранием. Как сказал Монтень: „Кому не достает мужества как для того, чтобы вытерпеть смерть, так и для того, чтобы вытерпеть жизнь, кто не хочет ни бежать, ни сражаться – чем поможешь такому?“* Тем не менее это ужасное положение – человеческий удел, единственно для него возможный.

Немедленно возникает вопрос, какая же вообще разница между живым и мертвым? Но мы говорим не о „сущности“, а только о мотивировке того испуга, который может поразить человека. Вот он уже, кажется, знает: это – жизнь. И вдруг его поражает понимание, что то, что он считал высшим проявлением жизни, сознание – на самом деле двуединство жизни и смерти.

Человек балансирует между двумя противоположно направленными векторами умирания, между сознанием, отчуждающимся от отражаемой им жизни и жизнью, стремящейся поглотить, растворить в себе сознание.

Как известно, существует некоторое противоречие в представлениях о взаимоотношениях самосознания и страха смерти (как обратной стороны воли к жизни). С одной стороны, чтобы приглушить страх смерти, надо погасить луч самосознания. В бессознательном состоянии не легче решиться на то, что при ясном уме не дает сделать страх (вспомним лунатизм). Во сне легче принять смерть, и военные мечтают о зомби, которые бы шли в бой, не страшась смерти, подобно роботам. С другой стороны развитие самосознания дает человеку сократовское бесстрашие перед лицом к смерти, доходящее на высших своих степенях стоической созерцательности до полного равнодушия и к жизни, и к смерти.

* Монтень М. Опыты. Кн. 1. М., 1992, стр. 73.

Развитый интеллектуализм задает жизни вопрос „зачем?“, на который она не может ответить, ибо, как известно, она не зачем, а потому что. Если бессознательность частично парализует волю к жизни, то сознательность подрывает самые ее основы. С одной стороны развитие самосознания является мерой суверенитета личности, основой ее индивидуализма, способности самостоятельно и свободно решать за себя, противостоя посторонним влияниям и внушениям. С другой стороны оно подрывает ценность этого суверенитета, ослабляя стремление к безусловному и безоглядному противостоянию. Разум человека балансирует между двумя бесстрашиями перед лицом смерти: бесстрашием слепца, идущего как баран на бойню, и бесстрашием Архимеда и Сократа, не борющихся за спасение своей жизни, ибо они не считали ее высшей ценностью.

Человек находится перед выбором одного из двух способов умирания. Из этого положения, по логике, следует простой рецепт сохранения жизни: не идти ни по одному из путей, не затрудняться выбором и ничего не выбирать, стоять, где ты есть, может быть, даже закрыть глаза на существование выбора. Но эффективность этого рецепта иллюзорна. Результат выбора предопределяется как раз тем, будет ли человек выбирать, или откажется от выбора. Нежелание затрудняться выбором будет автоматически означать выбор „нижней“ ветви умирания – погружения в бессознательное. Отказ от размышления о тяжелых альтернативах своего бытия означает отказ от самоосмысления, а интенсивность последнего есть мера и основа сознательности. И потому отказ от взаимного взвешивания рефлексии и бессознательности тождественен выбору бессознательности. Такой выбор может быть осуществлен только на базе отказа от видения другого пути. Степень продвижения по пути вниз пропорциональна степени забвения о самосуществовании пути вверх. Ибо путь рефлексии, сознательности обладает такой инфекционной, заразительной силой, что достаточно его видеть, чтобы выбрать. Сам процесс видения есть уже выбор. Если человек ясно видит перед собой альтернативу двух путей, то он уже не может выбрать бессознательность, потому что сознательность – это и есть ясное видение. При ясном сознании ситуации выбора нельзя выбрать бессознательность, потому что это будет сознательный выбор, получится в лучшем случае маска бессознательности для окружающих.

Та же сила, которая толкает человека по пути развития в нем сознательности, ставит человека перед выбором между путями. Одним из необходимых побочных эффектов развития сознательности является показ возможностей, имеющихся у человека, в том числе и возможности отказа от сознательности. Но на самом деле эта возможность не вполне реальна. Истинный выбор существует между знанием и незнанием о наличии выбора, фактически это выбор между уже совершенным выбором и безальтернативностью.

Заметим при этом следующее. Пути умирания – это, наверное, не совсем то, что хотел бы видеть человек. Говоря о смертных чертах сознания, мы большое значение придавали чувству дискомфорта, которое сопровождает для человека развитие сознательности, дискомфорта, который можно было бы сопоставить с дискомфортом от приближения смерти. И знание, в том числе и знание о путях смерти – один из источников этого дискомфорта. Во многой мудрости – много печали. Ко всем прочим негативным ощущениям, вызываемым в человеке „верхним путем умирания“ – развитием сознательности, – прибавляется следующий момент дискомфорта: обстоятельный показ всех опасностей, грозящих человеку. Мало непосредственно ощущаемых страданий, но кроме того ясно видишь, над какими пропастями и под какими дамокловыми мечами приходится проходить. С опытом человек начинает бояться будущего, но не потому, что оно принесет новые бедствия, а потому, что оно должно еще шире открыть глаза на бедствия, которые всегда были и будут.

Шок, пережитый Россией после прикосновения к свободе информации, дает экспликацию этого механизма на общественный уровень, причем даже излишне наглядную. Жванецкий говорил: старушки не могут понять, то ли катастроф стало больше, то ли о них начали сообщать чаще. Дискомфорт, ощущение неблагополучия создается не катастрофами, а знаниями о них. А если будущее чревато развитием гласности, оно чревато и развитием дискомфорта. А на уровне индивидуума синоним гласности – сознательность.

4. Образы мертвых и коды для Мира смерти

Потеря контакта сознания с жизнью или его угасание в гуще жизни – это две альтернативных концепции смерти, спиритуальная и телесная; и замечательно то, что когда человечество в легендах и былях рассказывает о встречах с людьми после их смерти, то описания мертвых достаточно четко группируются в два класса, соответствующих двум версиям умирания. Призрачная, лишившаяся тела душа – или тело с не твердо функционирующим сознанием. Либо мертвые являются в виде нематериального призрака, в виде тени, в виде невидимого, входящего в медиума призрака – либо перед нами встающий из гроба труп, со всеми следами разложения, а то и просто скелет. То есть мифология не вполне твердо отвечает на вопрос, кто же является преемником усопшей личности – душа или тело?

Возможно, промежуточным типом мертвеца следует считать случай, когда призрак является *в образе* мертвого тела, скажем с отрубленной головой в руках, или окровавленным и с веревкой на шее. Однако этот образ все-таки целиком относится к спиритуалистической версии мертвецов, кровь и следы телесных повреждений здесь говорят об экзистенциальной важности произошедших в прошлом событий, о нечистой совести убийцы – но не о физической телесности.

Обратим внимание еще на очень любопытную подробность: призрак не витален. Он бледен, он медленно движется и неслышно говорит. Иными словами, он похож на человека, подавленного рефлексией, на переучившегося студента. Вот мы говорили: сознание мортально, оно мешает непосредственности существования. Достаточно последовательное развитие следствий из этой идеи может привести к выводам неожиданным и далеким от очевидности. Например, что самоощущение смерти сознания вмешивается и в межличностные отношения. Самосознание не участвует в той жизни, которую сознает, отстранено от нее и поэтому страх перед другим самосознающим „Я“ оказывается как бы страхом перед движущимся мертвецом. Призрак похож на рефлексивную личность, а рефлексия заставляет предполагать призрачность и в живом.

Из двух определяемых структурными свойствами сознания ощущений возможного умирания следуют два типа представлений о мертвецах, а в соответствии с ними художественная лите-

ратура совсем по-разному описывает загробный путь человека. Соответственно с двумя представлениями об умирании писатели по двум разным сценариям описывают и „ощущения“ человека после смерти. Первый сценарий более частый – описывает ощущения души. Человек рассказывает, как он отделился от тела, как он куда-то полетел, как видел свое собственное тело, как летел по туннелю, в конце которого свет – и так далее. Очень часто описания всех этих впечатлений являются только прологом для подробного рассказа об аде и рае. Приводить примеры этого бессмысленно – литература на эту тему столь же обширна, как обширны ее источники – от мифологии всех религий до современного сбора показаний переживших клиническую смерть. Данте, Сведенборг, Марк Твен с „Капитаном Гаттерасом“ – вот лишь взятые наугад имена из совершенно бесчисленного ряда авторов. Другой, более редкий вариант беллетристических мифов описывает как бы самоощущения тела. Человек чувствует, как его несут в гробе, как заколачивают гроб, слышит рыдающих родственников – и рассказ обычно заканчивается на закапывании могилы. Хотя кое-кто пошел и дальше. Серебряный век русской поэзии дал странные, натуралистичные и нехристианские описания самоощущений разлагающегося мертвого тела. Приведу один из самых известных примеров – монолог мертвеца из стихотворения К. Случевского „На кладбище“:

„Слушай милый, я давно устал лежать!
Дай мне воздухом весенним подышать,
Дай мне, милый мой, на белый свет взглянуть,
Дай расправить мне придавленную грудь,
В царстве мертвых только тишь да темнота,
Корни цепкие, да гниль, да мокрота,
Очи впалые засыпаны песком,
Череп голый мой источен червяком,
Надоела мне безмолвная родня:
Ты не ляжешь ли, голубчик за меня?“

Предшественником Случевского здесь следует считать стихотворения русских романтиков, где они думают о своем посмертном существовании не в понятиях христианского пути души, но в понятиях некоего особого сна, в котором якобы пребывают мертвые

тела. Вспоминается здесь прежде всего Лермонтов с его „холодным сном могилы“. Еще ярче – у Э. Губера:

Я не хочу в гробнице холодной
Под жестким мрамором лежать;
Не хочу в темнице страдной
Тревожным сном опочивать.

Примечательно здесь то, что черты человеческой личности приписываются именно мертвому телу – со всей его ненадежной имперсональной судьбой, со всей его вовлеченностью в физико-химические и биологические процессы. Перед нами – не то чтобы человек материализма, здесь нет отрицания души, но мы здесь имеем дело с неким земным существом, с личностью, не покинувшей землю, оставшейся среди земных стихий. Перед нами как бы демонстрация того, что будет, если провозглашаемый в иудаизме выбор жизни и отрицание „только трансцендентного“ продолжать и после смерти. Хотя иудаизм здесь и ни при чем, но он весьма провоцирует на такое истолкование. Как заметил рабби Соловейчик, обычный человек веры не поймет слов предпочтения земной жизни, имеющихся в Галахе: „Как будто в них, Боже упаси, есть отрицание возвышенной и чистой жизни после смерти“ (стр. 24).

Мне лично известно только одно серьезное теоретическое объяснение того, как личная жизнь после смерти может быть связана с телом. Содержится оно в русском религиозном персонализме, прежде всего персонализме Н. Лосского. Согласно этому учению, всякий уровень организации материи – будь то атом или живая клетка – обладает своим уровнем духовности и сознательности, более или менее ясной. Душа человека – это духовность, свойственная целостности его личности. Но эта целостность может быть повреждена. Именно это, по мнению Лосского, произошло в последние месяцы жизни профессора Бекетова, когда у того катастрофически и патологически изменилась личность и характер. Согласно предположениям Лосского, душа целостного Бекетова уже покинула тело, но в последние дни жизни функции его личности стала выполнять духовность, соответствующая некому центру внутри тела Бекетова. Кстати, почему бы не предположить, что этот „центр“ – не любимый материалистами мозг? Так или иначе,

но Бекетов в каком-то смысле умер еще при жизни, как сказал бы Сологуб, „душа его умерла“. То есть Бекетов еще при жизни стал не более чем собственным телом.

Кстати, а что значит „стать телом“? Не то ли самое, о чем мы говорили – не значит ли это – „потерять дистанцию“ с ним?

Прямо о судьбе за гробом Лосский не говорит, но из его теории все же можно вывести: раз уже не вполне живое тело может имитировать личность, то почему бы и мертвому телу не быть неким аналогичным способом гальванизированным? В любом случае, в восставшем из гроба мертвце мы бы имели не личность, после смерти оставшуюся телом, а тело, приобретшее черты личности.

Еще более радикально аналогичные персоналистические идеи развивает Л. Карсавин в своей книге „О личности“. Он также утверждает, что тело есть человек, взятый в аспекте разрозненности своих отдельных составных частей, душа же – это человек в аспекте его целостности. Поэтому судьба души до какого-то момента неотделима от судьбы тела, и человек способен пережить и ощутить все, связанное с последней. С каким-то садистическим злорадством Карсавин говорит о раскаянии, которое охватит материалистов за то, что при жизни они были сторонниками „прогрессивной“ кремации трупов.

Все эти литературные образы и метафизические предположения были бы скорее забавны, но за их двойственностью, за их четкой группируемостью угадываются более фундаментальные различия: есть двойственность понятия смерти, есть разные парадигмы ее.

Мир религий демонстрирует нам определенное противоречие между отношением к смерти как таковой и концепциями загробного существования. В написанном Семеновым-Тян-Шанским православном катехизисе говорится: „Ужасна смерть, но в ней мера всего высокого, мера достоинства человека. Готовностью умереть измеряется храбрость, верность, надежда, любовь, вера...“* Все замечательно, но почему, из каких богословских оснований следует, что смерть ужасна? Как смерть может быть „ужасна“, если Христос издавна „смертью смерть поправ, сушим во гробах живот

* Епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский). Православный Катехизис. М., 1990, с. 111.

даровав“? Очевидно, что хотя идея об ужасности смерти и попала в православный катехизис, но в ней нет ничего специфически христианского, это лишь уступка общечеловеческому и общеживотному страху смерти. Одной округлой фразой православный епископ хотел снять, сгладить фундаментальную неясность, терзавшую Гамлета с его „быть или не быть“, а с Гамлетом – и все человечество. И тут мы подходим к очень важному различению, не произведя которое невозможно исследовать отношение религий к смерти.

В культурах самых разных народов очень часто можно увидеть две параллельные семиотические парадигмы Мира смерти. С одной стороны в мифах и образах фиксируется Событие смерти, Акт умирания – с другой стороны совсем другие образы относятся к Царству мертвых, к загробной жизни. В греческой мифологии различается Танат и Аид. В ближневосточной письменности упоминаются отдельно „смерть“ и „князь преисподней“. В христианской Европе без противоречия с концепцией ада ирая существует образ скелета с косой. Но если рай и ад – мир не человека в его целостности, но только его души, то атрибутами Смерти как события является именно то, что связано с мертвым, разлагающимся в могиле телом – череп и кости. Не стоит напоминать о том, какая бездна связанного со смертью культурно-семиотического материала относится к человеческому черепу.

Леонид Юзефович в своей книге „Самодержец пустыни“ утверждает, что атрибутирующие монгольского бога войны черепа не означают, что монголы воспринимали его как злого бога – монголы якобы вовсе не вкладывают в череп того зловещего смысла, какой привычен для народов европейских. Причем, так именно потому, что смерть для буддистов – событие не страшное, ведущее, как правило, к другому рождению. Если бы это так, то это священное примирение со смертью, которое Соловейчик приписывает всем религиям вне иудаизма, нашло бы свое точное воплощение именно в монгольском ламаизме. Однако утверждению Юзефовича как-то не веришь, во всяком случае веришь не до конца. Никакой буддизм не может полностью устранить из культуры влияния инстинкта самосохранения.

Смерть ужасна не по своим последствиям, не потому что после нее „никогда не увидишь солнца“ (как жалуется мертвец у Случевского), а сама по себе. Пусть смерть – только порог, отделяющий

эту жизнь от жизни загробной, но у этого порога есть самодостаточные свойства, его ужасность (или, во всяком случае, нежелательность) не преодолевается никакой уверенностью в своем загробном существовании. Есть автономная сфера пороговых переживаний, и, как уже говорилось, эти переживания – может быть, единственная достоверная информация о мире смерти.

И здесь перед нами опять всплывает дилемма, сформулированная Соловейчиком: что нас интересует: „только-дух“, или целостный человек? Сфера пороговых переживаний в их автономии имеет значение, существенное только с точки зрения судьбы целостного человека. Если же нас интересует чистота духовного, то Параклет и стоики должны научить нас избавляться от страха смерти.

Структурные свойства человеческого сознания постоянно заставляют нас чувствовать двойственность человеческой природы, ее разделенность на тело и душу. В полной гармонии с такой разделенностью эти свойства позволяют делать две альтернативных и противоположных гипотезы о сущности смерти – как потери контакта с телом и как потери дистанции с ним. Две параллельных гипотетических парадигмы смерти – спиритуальная и телесная – означают два совершенно параллельных содержания в понятии „мертвец“. И фундаментальное мифологическое членение Мира Смерти на области, связанные либо с действием умирания, либо с загробной жизнью также продолжает эту двойственность. Из всего этого ряда парных концепций вытекает парность чувств – чувств как реальных, так и рекомендуемых религиями. Чем встречать тот свет – страхом или спокойствием? Оправдан ли страх смерти? И если да, то чем обоснован? Этот гамлетовский вопрос – важнейший тест для всякой религии.

СВОБОДА

Речь пойдет не о бессмертии, которое повязано со смертью. И не о вечности, которая повязана с конечностью. И не о свободе, противоположной рабству. Если быть последовательным, об этом вообще нечего сказать.

Но я не занимал у последовательности и не в долгу у нее. Позволю себе вот какую вольность: придавать словам такое значение, которое не имеет антонима.

Оказывается, это возможно, хотя и непривычно.

Я не настаиваю на том, что только так и следует поступать, и вообще ни на чем не настаиваю. Освобождаю ближнего от необходимости убеждаться, а себя - от необходимости убеждать. Вот - и первое практическое следствие размыкания связи свобода-необходимость.

Я отказываюсь от принудительной функции логики, ибо не верно, что можно во что-то по-настоящему вникнуть, находясь под гнетом императивов.

Тому, кто постарается понять, о чем тут речь, я не обещаю царства истины и справедливости. Тому, кто не захочет или не сможет, не угрожаю тьмой кромешной. И если это лишает стимула читать дальше - пусть так. Связь писатель-читатель обязывает меня не больше, чем связь свобода-зависимость. Таковы мои условия. Вернее, таковы условия возможности понимания того, о чем я пытаюсь говорить.

Здесь читатель может справедливо возмутиться: этот Бен-Барух рехнулся! Условия, которые он предлагает, соответствуют Божественному откровению или бреду сумасшедшего.

Замечание немедленно принимается, ибо влечет за собой развитие темы.

Я тоже полагаю, что свободная речь - привилегия Богов и безумцев. Но вот богослов и психиатр вряд ли согласятся с этим. Оба убеждены, что речи их контрагентов только кажутся лишены необходимых связей. А на самом деле, в них просто недостает отдельных фрагментов. И если восстановить недостающее, речь Бога, а также безумца, окажется последовательной.

Я не стану утверждать, что это не так. Не буду также убеждать, что я не Бог и умственно нормален.

Позволю себе лишь следующее замечание: если хотите вникнуть в суть того, о чем говорится, постарайтесь не противопоставлять, не сравнивать и не уподоблять. Возможно, что именно это имел в виду древний автор, говоря: „Не сотвори кумира, ни всякого изображения...“

И еще написано: „Я сказал: вы боги... но как человеки умираете...“

Я причастен божественности и человечности, которые сосуществуют во мне, словно независимо друг от друга.

И сейчас я позволю себе то, что запретил, - сравнение. Представьте себе смесь земли, воды и огня. Ведь правда, что этого не должно быть? Однако именно это-то и есть.

А теперь я опровергну то, что утверждал: эти взаимоисключающие начала связаны. И именно потому, что каждое существует независимо от других, возможна связь между ними, а не взаимное уничтожение.

А вот связь другого рода: иерархическая. Власть и подчинение не противоречат друг другу: чем больше власть, тем больше и подчинение - гармония.

Но тут мне вспоминается сказка о том, кто всех сильнее. Не ручаюсь за точность деталей, но смысл таков: сильнее всех... кошка. Потому что туча может заслонить солнце, ветер - прогнать тучу, дерево - противостоять ветру, мышшь - подгрызть корни дерева, а кошка - съесть мышшь.

Даже Творец всего сущего может оказаться подчиненным звеном иерархии.

В сущности, не столько Бог спас Ноя, сколько Ной - Бога, то есть от полного провала.

Я хочу сказать, что независимость не исключает связи и наоборот.

Человек не лишен божественности, которая не есть человек-

ность - и все же присуща человечности. Ее можно отрицать. Ее можно задавить. А она продолжает существовать. Ее можно категорически отделить от всего прочего, а она пребывает во всем, будучи от всего отлична. И совершенно вопреки логике.

„Люди смертны. Сократ - человек. Следовательно, Сократ смертен“. Ну хорошо, допустим, что существует смерть, исключаящая бессмертие. Отсюда ведь не следует, что не существует смерти, которая не находится с бессмертием в непримиримой вражде.

Здесь серьезный человек улыбнется: этот Бен-Барух пытается защититься от смерти игрой словами!

Благодарю за своевременное, а главное, точное замечание!

Позвольте спросить: чем отличается игра, скажем, в шахматы от вообще перестановок неких тел по некой поверхности? Правилами игры, не так ли?

Где нет правил, нет и игры. Бен-Барух преступил правила логики, то есть игры в рассуждение, следовательно - вышел из игры.

Игра - та же реальность, но ограниченная внешними ей правилами, назначение которых в том, чтобы сделать ее управляемой. Так обуздывают и объезжают коней. Невзнузданный конь существует вообще, ни за чем. Взнузданный существует, чтобы на нем ездить, причем, в определенном заранее направлении, а не так, как взбредет в голову самому коню.

Так лошадиное бытие обретает смысл.

Правила игры, вообще правила - это защита от неопределенности, свойственной любой реальной ситуации. (Определенность ей тоже свойственна, иначе правила не могли бы осуществляться.) Закон выражает стремление человека к однозначности. Правила игр менее категоричны и удовлетворяются двузначностью: либо - либо.

Даже выходя на смертный бой, соперники предпочитают соблюдать некоторые правила. А это значит, что полная неопределенность боя страшнее двузначности: жить - умереть. Важно также иметь априорное представление о том, какая именно смерть может иметь место. Одно дело быть готовым умереть от шпаги или пули, и совсем другое - когда смерть может наступить от чего угодно и где угодно. С определенным родом смерти можно примириться заранее.

Именно поэтому существует конкуренция между религиозной

и атеистической концепциями смерти. Полное небытие – это тоже определенность. Даже большая, чем альтернатива рай – ад.

Бен-Барух боится смерти. И все-таки отказался от защиты, которую предоставляют как религиозные, так и атеистические правила рассуждения об этом неопределенном предмете. А выйдя против смерти безоружным, увидел, что и смерть – вовсе не обязательно скелет с косою или дыра в бытии.

О том, что смерть имеет не только отрицательную, но и положительную сторону, люди догадались очень давно. Тогда же встала проблема подготовки к смерти, то есть такого образа жизни, который прямоком выводил бы на положительную сторону смерти. Разные народы решали ее по-разному. Но есть во всех решениях и нечто общее. Об этом немало сказано. Лишь один аспект остался слабо освещенным, должно быть, потому, что во всех концепциях казался само собой разумеющимся. Я имею в виду априорность и императивность оптимального образа жизни, который неизменно понимался как задача, имеющая однозначное решение, а неопределенность состояла лишь в том, найдет ли данный человек данное решение в данной ситуации.

Традиционно религиозное воспитание как раз и направлено на то, чтобы облегчить нахождение этого решения. Примерно так же, как обстоит дело, например, с курсом физики и задачником к курсу.

Но и когда жизнь стала считаться самоценной, когда заповеди религии были трансформированы в моральные императивы, а поиски лучшей подготовки к смерти сменились поисками смысла жизни, то и тогда парадигма сохранилась без существенных изменений: смысл существует априори, остается только его найти и осуществить применительно к конкретной ситуации.

Отсюда практическое сходство между обретением религиозной веры и обретением смысла жизни. Весьма сходны и трагедии в обоих случаях: потери веры и потери смысла. И в том, и в другом человек оказывается перед неопределенностью существования и испытывает ужасные муки.

Но это – тот самый ад, в который завели его добрые намерения воспитателей, прививших ему ориентацию на априорность и императивность решений любых жизненных ситуаций.

Отсюда полная растерянность в ситуации, когда бытие оборачивается своей неопределенной стороной. Тогда даже смерть кажет-

ся предпочтительным решением. Если, конечно, представлять ее как однозначное небытие.

А если и смерть многозначна?

Тогда добрые намерения религии, морали, науки не ведут вообще никуда, что, может быть, еще хуже ада.

Хотя и из тупика имеется однозначный выход - назад, откуда пришли.

То есть возвращение в детство, характерное для старческого маразма. Здесь, между тупиком и маразмом, процветают возвращения к старым добрым верам, которые потому и были оставлены, что уже тогда перестали быть удовлетворительными решениями проблемы человеческого бытия.

Человек накладывает на жизнь ограничения, детерминирующие, насколько она это позволяет. Но со смертью это не проходит. Чем осмысленнее человек делает собственную жизнь, тем острее оказывается проблема неопределенности, в которую жизнь непременно упирается.

Малейшее проявление жизненной неопределенности, словно дырочка в дамбе, угрожает смыть осмысленность в бессмыслицу, и внушает нашему современнику такой ужас, что он зачастую забывает свою цивилизованность.

До тех пор, пока человек теряется перед неопределенностями жизни, бессмысленно напоминать ему о смерти. Подготовка к реальности смерти может состоять лишь в том, чтобы учиться поведению в жизненных неопределенностях, когда нет ни априорных ответов, ни апробированных моделей.

И тогда именно ситуации, по-видимому, бессмысленные, приобретают особую ценность, даже если с непривычки бессмыслица воспринимается крайне мучительно.

Вот простенькая бессмысленная ситуация, назовем ее „ожидание автобуса“. Ее мучительность, во-первых, в нарушении темпа: вы сориентировали тело и психику на движение, а двигаться не можете. Во-вторых, в потере инициативы: только что вы задавали последовательность событий, а она возьми и прервись. В-третьих, в неопределенности: даже если на остановке висит расписание, у вас нет уверенности, что оно будет соблюдено и в этом конкретном случае.

Как вы ведете себя в этой ситуации?

Топчетесь на одном месте (имитируете потерянный темп). По-

глядываєте на часы (бессознательная попытка навязать свою волю течению времени). Высчитываете, сколько прошло и сколько осталось (попытка найти в неопределенности хоть какую-то определенность). А то еще рисуете в воображении и даже преувеличиваете неприятные последствия, которые может повлечь за собой вынужденная задержка.

Стало ли ожидание от этого легче? Скорее, напротив.

К тому же, вы упустили еще одну возможность вникнуть в существенный аспект собственного бытия.

Представьте, что время ожидания вдруг наполнилось чем-то интересным. Задержка осталась задержкой, но оказалось, не так уж важно прибыть на место как можно быстрее. А главное, бессмысленное времяпрепровождение обрело смысл.

И это то самое, что обычно советуют в подобных ситуациях: потеряли смысл - найдите поскорее другой.

Ну, а если потеряна ваша жизнь? О какой замене может идти речь?

Сколько ни бегаешь от бессмыслицы в поисках смысла, пустота - неизбежный спутник. Так не лучше ли научиться сосуществованию с ней? Вот как раз и случай - ожидание автобуса.

То, что вас мучит в ожидании, - это не бессмысленность, а смыслы, влекущие вас с места на место, от занятия к занятию. Пока вы подчиняете себя их влечению, вы их и не чувствуете. Но стоит возникнуть препятствию, и невидимые нити натягиваются весьма болезненно.

Бессмысленность - это ситуация, в которой проявляется ваша несвобода... Вам кажется, что эта задержка вынуждена, что это она как будто связала вас по рукам и ногам. А на самом деле бессмысленная ситуация - это пробуждение от наркоза смыслов и ощущение их власти над вашим сознанием.

Здесь - бездна между свободой как таковой и свободой-зависимостью. Когда вас несет течение, вы как бы свободны, но эта свобода немедленно оказывается зависимостью при малейшем сопротивлении.

Свобода как таковая, без антонима, - это свобода от потока смыслов.

Может ли живущий быть свободным от потока жизненных смыслов?

Бессмыслица смерти неизбежно вырвет его из потока.

Поэтому вопрос стоит иначе: может ли живущий существовать и вне потока?

Вот, вы ощутили болезненное давление смыслов. Теперь взгляните на себя со стороны: это не вы ждете, а подобный вам „он“. Самая возможность отнестись к себе самому как к другому указывает на то, что тождество собственному Я неабсолютно. Допустим, что вы нетождественны собственному Я. Тогда вы разом освобождаетесь и от связанных с Я смыслов.

Однако допустить-то можно многое. Вопрос - можно ли реально перестать быть самим собой? Ведь это же - безумие, распад личности.

Я есть Я и только Я, иначе меня нет, а есть не-Я.

Вот, безумец отождествляет себя не с собой. Однако же он есть он. По крайней мере, в ваших глазах. Значит, самотождественность и несамотождественность Я совместимы в бытии, но несовместимы в одном сознании.

А теперь допустим, что они совместимы в одном и том же сознании и даже в одно и то же время. Логике тождества это решительно противоречит.

Вопрос - осуществимо ли это? Если да, то логика тождества просто не распространяется на этот род явлений бытия.

Но кто возьмется это проверить? Наша привязанность к Закону тождества столь велика, что отказ от него угрожает разрушить сознание.

На чем основан этот мощный защитный механизм?

Самотождественно человеческое тело. Тело, которое не есть оно само, - не есть тело вообще. Отрицание самотождественности тела - это отрицание его границ. Нарушение границы живого тела чревато смертью. И если не всякая рана смертельна, то лишь благодаря защитному механизму, направленному на сохранение и восстановление самотождественности тела, то есть целостности его границы.

Итак, по отношению к живому телу, Закон тождества есть условие бытия.

И все-таки живое тело умирает. Если смерть не приходит извне, она приходит изнутри, и тело перестает быть телом.

Но вот тело обрело сознание и осознало себя как Я. Казалось бы, как тело есть оно само, так и Я есть Я и никто другой.

Однако Я не есть тело. А если Я - не тело или, по крайней

мере, не только тело, то почему следует распространять на Я Закон тождества?

Именно феномен самосознания, отличающего Я от тела Я, ставит под вопрос всеобщность Закона тождества. Сознющее себя тело - уже не есть только оно само. Хотя и оно само также. Итак, наше предположение, что самотождественность и несамотождественность Я совместимы в одном сознании, не беспочвенно.

Сознание - это феномен в становлении, и процесс далеко не завершен. Есть сознание едва отличимое от тела. И есть сознание, для которого тело - всего лишь образ существования, один из возможных. Есть также сознание промежуточное между тем и этим. И нет достаточных оснований для предположения, что сознание достигло своего предела.

На низких ступенях сознание отождествляет Я и тело Я. Отсюда происходит путаница, когда самотождественность тела переносится на самосознание суверенного Я. В результате переворачивается иерархия становящегося сознания: приняв закон Тождества за основу, растущее сознание оказывается в кабальной зависимости от начальной стадии развития.

Чтобы восстановить естественный процесс своего становления, сознанию следует совершить контрпереворот. И тогда сознание выходит из тупика.

Но это трудная, опасная и длительная работа, для которой уже недостаточно времени, проведенного в ожидании автобуса...

Здесь читатель, почему-то еще не переставший читать, наверняка спросит: „Так есть жизнь после смерти или нет? И если есть, то - какая?“

Бен-Барух этого не знает.

Но есть незнание-невежество, то есть антизнание. И есть незнание как таковое, из которого рождается знание. Не было - не было, а потом глядишь - и есть. Глупо забегать вперед бытия.

КАРТА ЕВРОПЫ

Марэн Фрейденберг

БАЛКАНЫ: «ВЗБУНТОВАВШАЯСЯ ЭТНИЧНОСТЬ»

Вначале из Югославии пошел поток тревожных телеграмм с места событий – из окрестностей Вуковара в Восточной Славонии, с гор, окружающих Дубровник, из Сербской Краины в Хорватии. Он сменился столь же поспешными комментариями и тягостными репортажами с фотографиями зверств с той и другой стороны, пока „читатель – газетных тонн глотатель“ не запутался вконец в горах имен, ситуаций и оценок и не утратил интерес к югославским делам. А старая формула „югославская трагедия“ зазвучала с новой силой. Сейчас трудно даже представить реальный объем той литературы, которая была создана в ходе и по окончании гражданской войны на Балканах 1991-1995 гг. Мне казалось, что я основательно познакомился с тем, что происходило за последние четыре года на земле этой несчастной страны. В свое время я и сам в газетных публикациях помогал (так мне, по крайней мере, представлялось), выяснению отношений (см. хотя бы „Две югославских войны“ - „Вести“, 29.08.95.). Но вот бои прекратились, и вроде бы наступило время спокойного подведения итогов и осмысления происходившего. Ан нет! Вслед за каким-то „успокоением“ в Боснии и Герцеговине стал зримо нарастать вал очередного противостояния, на этот раз в Косово и Метохии.

Ныне косовский узел по своей трагической бесперспективности может смело поспорить с боями вокруг Славонии, Бихача или Сребреницы. Можно догадываться, что под событиями 1991-1995 гг. мощно бурлит океан раскаленной общественной „магмы“, более глубокий и опасный, чем это представлялось ранее. Это толкает нас к постановке целой серии „больных вопросов“: „Кто прав и кто виноват? Что может считаться началом событий – обстоятельства политического, религиозного или национального

характера? Каковы уроки происшедшего?" Трудно рассчитывать на полные ответы, но сама постановка проблем просто необходима – накопленный опыт может быть востребован, Балканы неспокойны.

Каков общий характер балканского кризиса, с каким обозначением он должен использоваться. Основательная ломка *о б щ е с т в е н н ы х* связей бесспорно должна фигурировать в его характеристике одной из первых, или во всяком случае наиболее бросающихся в глаза. И в самом деле, исходным пунктом перемен, начавшихся в Восточной Европе в конце 80-х гг., явился массовый отказ от коммунистического режима. Возможно, что историки будущего найдут новые обозначения для процессов, начавшихся в 1989-1990 гг., но покамест во всеобщем употреблении понятие „революции“ („бархатная революция“), более адекватного еще не отыскали.

Я напоминаю об этой особенности переворота на Балканах преимущественно для того, чтобы подчеркнуть при этом ее маргинальный характер. Отнюдь не борьба коммунистов с не-коммунистами велась на Адриатическом побережье или в боснийских горах в эти годы. Столкновения носили совершенно иной характер.

Мы приблизимся много ближе к пониманию сути явлений, если укажем на роль *к о н ф е с с и о н а л ь н ы х* обстоятельств. Пример с боснийскими мусульманами в данном случае один из самых выразительных. Впрочем, и здесь существует почва для сомнений. Мусульманин, если к нему внимательно присмотреться, почти всегда оказывается простым боснийцем, „босняком“. А борьба, которая с ним ведется, на поверку является борьбой за землю, за территорию в составе республики Босния и Герцеговина. Чисто конфессиональный, еще более скромный, характер югославского кризиса станет еще скромнее, если повести речь о католиках. Масс-медиа, правда, сделали попытку утверждать, что за хорватами будто бы стоит Ватикан в их борьбе с православными, но очень скоро стало ясно, что это утверждение лишь грубый пропагандистский прием. Другое дело, что в военной неразберихе слово „католик“ звучало часто как обозначение хорвата, но происходило это по другой причине. Балканисты знают, что в повседневной жизни серба зачастую невозможно отличить от хорвата, их отличает только вера. Здесь конфессиональные особенности выступают ярче, но, конечно, борьба велась не из-за этого.

Логика нашего повествования ведет к третьей черте кризиса, к выводу о том, что решающим в его ходе явилось существование *этнической розни*. Этничность – вот явление, которое и в умах исследователей и в широкой печати стало преобладающим. Здесь требуется некоторое пояснение, прежде всего с терминологической точки зрения.

Понятие „этническое“ лучше „национального“ уже потому, что хорошо покрывает демографические коллективы, например, народности, которые еще не стали нациями, не доросли до них, а находятся как бы „на подходе“. Этничное к ним подходит достаточно выразительно. И еще одно, достаточно серьезное соображение. На протяжении долгого времени в науке, во всяком случае в российской науке, было принято считаться главным образом с классовыми явлениями, остальные, в том числе и национальные оставались как бы в тени. Тем неожиданной оказался выход на авансцену политической жизни всего, что явилось носителем этнического. „Бунт этничности“ – вот какое обозначение этот процесс получил и получил вполне обоснованно. Неудивительно, что он повсюду вызывает и чисто научный интерес и практическое внимание.

Как вызревал на Балканах этот этнический взрыв? Ведь трудно представить, что ему не предшествовала сколько-нибудь длительная инкубация. И, действительно, со сложностями местной этнической жизни пришлось столкнуться уже австрийскому (позднее австро-венгерскому) режиму. Правда, с разными народами на Балканах пришлось встретиться уже туркам-османам, но этих интересовала совсем иная проблема отношения с мусульманами, т.е. с плательщиками уменьшенных налогов, или с не-мусульманами и плательщиками податей в полном объеме. Таким образом, трудность налаживания совместной жизни разных этносов на полуострове легла по-настоящему на плечи австрийской администрации.

Это произошло в конце XVII в., когда Габсбургам удалось отбросить турецкие войска от Дуная, завоевать обширные территории и начать привыкать улаживать распри в только что приобретенных землях. И двести с лишним лет, вплоть до революции 1918 г. австрийские чиновники учились этому нелегкому искусству и добились в этом деле немалых успехов. Хлесткие словечки из марксистского лексикона типа „лоскутная монархия“, „тюрьма народов“ и им подобные ныне выброшены из словаря думающих историков.

И современные исследователи сейчас стремятся увидеть и оценить умение поддерживать мир и единство большого конгломерата этносов, которых добивались венские политики. Недаром строители Европейского Союза все чаще обращаются в австрийскому опыту.

Не менее значителен для уяснения проблем межэтнических отношений на Балканах опыт создания федеративного государства в Югославии после Второй мировой войны, позитивный опыт, в противовес негативному опыту королевской Югославии 1918-1941 гг. Здесь не место подвергать анализу, пусть даже беглому, то, что происходило в эти годы. Важно лишь подчеркнуть, что единство или разобщенность всегда оставались ведущими темами балканской общественной жизни.

Основываясь на данных исторического прошлого балканских народов (и не только вошедших впоследствии в югославскую федерацию), мы вправе отметить несколько важных черт этнического своеобразия на полуострове. Первая из них - это удивительное многообразие путей, которые прошли разные балканские народы в своем развитии.

Так, некоторые нации могут похвастаться многовековым этническим „стажем“. Таковы, например, сербы. У них на протяжении столетий было и свое государство, и длительные отношения с Византийской империей, и своя культурная традиция, и опыт борьбы за независимость. А рядом находились этносы, которым до превращения в нацию не хватало то одного, то другого. Хорватам, например, восемьсот лет не хватало своего государства, македонцам - языка, черногорцам - свободы от османского „покровительства“. Эти народы находились в стадии своего национального становления и как бы „не дотягивали“ до уровня национального становления, запаздывая с ним. Таким образом, мы имеем дело со своеобразной ступенчатостью, градуированностью этнического развития на Балканах, и на отношениях разных народов друг к другу это своеобразие не могло не отразиться.

Вот один из важных итогов этого градуированного развития: сербская шовинистическая пропаганда объявила боснийцев не нацией, а лишь конфессиональной группой, недостойной иметь свое собственное государство. Поэтому никак не удивительно, что самая кровавая страница в летописи балканской войны была открыта на слове „боснийцы“.

Еще одна грань в картине этнического состояния на полуострове. В той Югославии, которая начала свой распад к концу 80-х гг. и которую попеременно именуют то социалистической, то „титовской“, за сорок с лишним лет существования был накоплен солидный опыт улаживания межэтнических противоречий. Одним из проявлений этого опыта является принятие в 1974 г. новой конституции, по которой права автономных краев и областей были значительно расширены (по этой конституции, между прочим, была утверждена и автономия Косова, та самая автономия, которую в 1989 г. отнял режим С. Милошевича, вызвав бурю, не стихающую и по сей день).

Вторая интересующая нас грань событий заставляет вспомнить, что в Югославии к концу 80-х гг. был накоплен внушительный опыт улаживания межэтнических противоречий. И наиболее дальновидные югославские политики достаточно успешно использовали этот опыт. Недаром самого искусного политика, самого Тито, называли „последним Габсбургом на Балканах“. Что же в этом отношении может нам рекомендовать этот опыт?

Увы! Установка на смягчение противоречий, на маневрирование и уступки была выброшена за борт, и накопленный ранее опыт не был востребован. Возобладало откровенное и твердолобое упрямство. Нет нужды долго объяснять, кто это упрямство проявил. Это был тот самый после-титовский режим во главе со Слободаном Милошевичем, на руках которого столько крови.

Этот отказ от смягчения межэтнических связей был порожден либо нежеланием прибегнуть к мягким мерам в арсенале правительственной политики вообще, либо боязнью, что, сдвинувшись, лавина перемен уже не остановится, либо интеллектуальным уровнем белградского руководства. Ведь в годы коммунистического режима в Югославии, как и в СССР, наверх выбивались преимущественно самые серые и угодливые бездары, „троечники“. Но так или иначе, а никаких уступок другим национальностям в их стремлении к послаблениям сделано не было.

Еще одной и очень важной стороной межэтнических отношений, вылившихся в гражданскую войну, была неслыханная жестокость. Гражданские войны вообще-то никогда не отличались сдержанностью, но то, что происходило на югославской земле, а особенно в Боснии, поразило даже выдавших виды военных экспертов. Недаром слово „озверение“ стало самым подходящим термином для

обозначения психологического настроя боровшихся. Я помню, например, что, следя за событиями, я все чаще должен был оценивать не военные действия или этапы политической борьбы, а то повышение, то понижение этого свирепого элемента происходящего. Первыми в этой гонке жестокости проявили себя сербские четники, но вскоре она стала присуща всем участникам событий.

Не моя задача сейчас коллекционировать примеры подобного рода, у многих из современников в памяти такие свидетельства. Значительно важнее, на мой взгляд, отыскать истоки этого явления. И здесь нам не обойтись без одного важного антропологического наблюдения.

Балканскую войну, как и ряд других столкновений наших дней, происходящих на Востоке или в Черной Африке, следует рассматривать, как выброс той сферы человеческой жизни, той, если угодно, культуры, которая обычно рассматривается как пройденный этап человеческого прошлого и чаще всего рассматривается, как побочная, даже первобытная глава истории. Она может существовать и широкими пластами, и небольшими островками. Но в любом случае в наши дни она прикрыта корой современной цивилизации, до поры до времени не дает о себе знать и просто бурлит в глубине, как подземная „магма“.

Однако не исключено, что в отдельных случаях эта „подземная“ форма человеческого существования пробивает тонкую корку и вырывается на поверхность. И тогда мир сотрясается от взрывов насилия и, казалось бы, неожиданной свирепости. Так произошло, например, в Конго при Патрисе Лумумбе или в наши дни в ряде государств в Африке. С тех пор эти районы планеты постоянно сотрясаются от первобытного подземного „гула“. Может быть, и не в таких угрожающих масштабах, но в принципе так же это произошло и на Балканах. Вина местных политиков, причастных к югославскому кризису, не только в том, что они двинули танки или перебили массу людей, но главным образом в том, что они, не задумываясь о последствиях, пробили тонкую и непрочную корку цивилизации и выпустили на волю раскаленную магму неприятия, воинственности и свирепости.

А теперь, как мне кажется, есть основания для того, чтобы обратиться к еще одной особенности духовной оснастки балканского люда, без которой развитие межэтнических отношений будет непонятным или неполным. У многих, кто следил за событиями

на полуострове в наши дни или изучал их в прошлом, возникает вопрос: „А не является ли частота и длительность войн в этом регионе Европы имманентной особенностью местной жизни?“ Разумеется, и у историков, и у политологов, я уверен, найдется немало аргументов для суждений. И этот соблазн отыскивать ответ на только что поставленный вопрос в сфере политических или военно-политических или общественных страстей, вполне правомерен. Однако есть и другой путь для поиска ответа, путь использования этнологических свидетельств. Следует лишь отыскать точку зрения, которая позволила бы объединить данные наших дней со свидетельствами далекого прошлого. На мой взгляд, такая точка зрения существует, и это характеристика того социального персонажа, который был веками присущ Балканам или, иначе говоря, „балканского человека“.

Утверждая это, я совершенно сознательно примыкаю к сторонникам мысли об обязательном присутствии элементов национального характера в духовном облике каждого индивида (или каждой социальной группы). Здесь не место детально аргументировать этот тезис, но одну сторону этого характера имеет смысл обязательно подчеркнуть. Национальный характер может проявлять себя в мирной обстановке, и тогда он будет бросаться в глаза, скажем, туристам, переезжающим из страны в страну. (Это обстоятельство, кстати, хорошо знакомо путешественникам, писавшим свои путевые заметки в XVI-XVIII вв.) Но с особой остротой этот характер проявляется в моменты острых потрясений, когда люди вставали на защиту этого характера как национальной ценности, как коллективного достояния.

В этом случае будет оправданно и логично начать с характеристики природной среды. Трудно найти нечто более постоянное и устойчивое. Более того, решившись увидеть в географической среде один из источников воздействия на человека, мы обнаруживаем, что среда на Балканах обладает огромным запасом импульсов этого воздействия.

Балканы – горный регион. Никак не случайно, что именно один из значительных горных массивов, отделяющих Северную Болгарию от Южной, дал имя всему региону. А Динарский массив определяет жизнь еще большего числа людей. Еще важнее то, что от основных массивов в разных направлениях тянутся хребты, горные цепи, как бы разрезающие поверхность полуострова и отделяющие

один край от другого. Таким образом, обитателям п-ова издавна приходилось приспосабливаться к нескольким зонам бытования - на горных склонах, в речных долинах и в межгорьях, именуемых здесь „полями“ (ср. знаменитое Косово поле). Пребывание в межгорьях особенно показательно для наших целей - оно позволяет судить о выработке у балканских людей целого ряда качеств.

Эти качества можно обозначить, как умение подыматься в горы хотя бы для выпаса скота. Как искусство надолго отрываться от городов и сельских поселений. Еще одно качество - это ощущение оторванности от своих соседей, живущих по другую сторону горного хребта. В итоге люди, отделенные друг от друга такими условиями, начинали складываться в устойчивые общности в несколько сотен, а то и тысяч человек. Разумеется, существовали и коллективы меньшего масштаба, например, так называемые „семейные общины“ из нескольких десятков человек. Но сейчас мы ведем речь не о них, хотя семейные общности могут служить доказательством распространенности общинной жизни в этом крае. Но особенно характерным для Балкан было существование крупных общностей, ибо именно они-то и определяли уровень воинственности в этом регионе.

Именно эти общности возникали и долго существовали, иногда на протяжении нескольких столетий, вплоть до XX в. в рамках межгорий. Они носили общее имя, считаясь как бы потомками общего предка (например, Белопавличи, потомки некоего Белого Павла), пользовались общими пастбищами и, конечно, совместно сражались. Их именовали „племенами“ или „братствами“, и их длительное существование является признаком существования архаических общественных связей. А весь комплекс таких отношений является признаком разобщенности, в свою очередь порожденной природными условиями.

А уж сама эта разобщенность вызывала к жизни несколько последствий. Во-первых, в сознании людей возникало убеждение, что только их собственная общность, их братство или племя обладает правом на существование или на пользование лучшими пастбищами. Так рождалось то самое пренебрежительное отношение к чужакам, та ксенофобия, о которой в наше время мы столько слышим и чего столько опасаемся.

Во-вторых, пространственная разобщенность в свою очередь определяла образ жизни, в котором война или готовность к войне,

в частности ношение оружия, занимало ведущее место. В 1804 г. сербы восстали против турок и отправили в Петербург делегацию с просьбой о помощи. Вернувшись на родину, делегаты очень хвалили русских, находя у них только один недостаток: их мужчины очень похожи на женщин, выходя на улицы без оружия. Как видим, привычка держать в руках оружие входит обязательной чертой в тот самый психологический портрет балканского человека, которого мы доискиваемся.

Нам не обойти в этой связи еще одну сторону балканского образа жизни. Я имею в виду мощные элементы архаики в жизни балканских народов. Одним из них было обязательное право кровной мести. Человек, которого преследовали за пролитую кровь, нередко отсиживался в стенах своего дома: здесь его не могли убить, и он сидел и дожидался либо выкупа либо возможности выйти на бой. Как это знакомо нам здесь, на Ближнем Востоке!

Стремясь и далее углубиться в характеристику балканского образа жизни, и соответственно балканского сознания, мы не можем миновать и такую черту этой жизни, как значительная роль скотоводства. Оно носит здесь перегонный характер и приходилось постоянно беспокоиться: а удастся ли сохранить пастбища от захвата со стороны соседей? Удастся ли с оружием в руках отбить соседский натиск? В итоге такая, казалось бы, мирная черта сельской жизни, как выпас скота, постоянно подпитывала повседневную воинственность.

Конечно, на равнинах эти заботы либо не существовали, либо ощущались в смягченной форме, но там, где овцеводство кормило людей, они не исчезали никогда. Более того. К XX-му веку они даже обострились. Ибо при турках перегоны скота из одной области в другую находились под защитой османских властей. Когда же Османская империя распалась на отдельные государства и границы перерезали старинные пастбища, пастбищные столкновения стали привычным кровавым делом (вспомним известную картину, к сожалению, не помню, чьей кисти, „Спор на меже“).

Мы вплотную подошли к роли завоевателей-османов в балканской жизни, и здесь нас ожидают дополнительные свидетельства к нашим поискам истоков балканской воинственности.

И когда турки пришли на полуостров, и когда они его начали покидать, т.е. с XV-го века и по конец XVII-го, оба эти процесса сопровождалась ростом военных усилий и количеством пролитой

крови. Правда, масштабы обоих процессов были неодинаковыми. Завоевание п-ова совершилось сравнительно быстро, и сопротивление балканских князей было преодолено достаточно легко.

По-иному дело обстояло, когда османы покидали балканские земли. К концу XVI в. они стали постоянным элементом здешней общественной структуры. Они жили за счет подвластного населения, и расставаться с этой ролью не хотел никто – ни владельцы поместий, „сипахи“, ни простые аскеры, ни гвардейцы-янычары. И разъяренные перспективой изгнания, турки не упускали возможности устроить то одну, то другую резню. Поэтому освободительные движения покоренных народов, сербов, греков, болгар, македонцев, черногорцев, в течение всего XIX века повсюду сопровождались великими кровопролитиями. Мог ли этот процесс остаться без воздействия на тот „дух войны“, о котором мы ведем речь?

Под конец мы должны обратить внимание на интересную закономерность. Годы завоевания (условно конец XIV – весь XV вв.) и годы развала Империи и жестокого подавления освобождающихся народов (XVII-XIX вв.) в истории османского господства разделены временем сравнительно спокойного существования. Это – (опять же условно) – XVI век, когда на п-ове стихли княжеские усобицы и разбойничьи бесчинства, наступил мир и – самое важное – все ощутили мощь сильного и действенного государства. То, с чем много лет не могли справиться цари, князья, династы, скоро и эффективно выполнила абсолютная власть в Стамбуле. Можно многое сказать о несправедности и свирепости этой власти, и все это будет правдой. Но бесспорно и то, что в решающий момент эта по-восточному жестокая власть решила важную историческую задачу ликвидации безвластия, анархии и распада. Игнорировать этот результат османского владычества мы просто не можем.

Когда же вслед за „благополучным“ XVI-м веком наступили двести лет беспорядка, то в балканском обществе стала ощущаться своеобразная тоска по сильной власти, способной навести хоть какой-то порядок. Однако судьба распорядилась иначе. XIX век стал на Балканах временем подъема национально-освободительных движений и образования небольших государств – Сербии, Греции, Черногории, Болгарии, почти сразу же вступивших друг с другом на тропу войны и локальных столкновений.

И ученые, и широкая публика привычно видят в происходившем только первую его сторону, только благородную цель освобожде-

ния от турецкого господства. Вторая же его сторона, распад п-ова на враждующие государства, чаще всего остается в тени. А между тем этот распад оказался для Балкан столь характерным, что возник даже своеобразный термин - „балканизация“, получивший в литературе права гражданства. Например, когда в современной Африке в 60-х гг. начали возникать небольшие республики, специалисты довольно быстро окрестили этот процесс понятием „балканизация Африки“. Полуостров стал для мира своеобразной моделью политического развития.

И в этой модели находится место для такого акта, как насильственное вмешательство в прежнюю государственную структуру, вмешательства, которое вовсе не обязательно выглядит как деспотизм или диктатура. Существуют, как известно, и иные формы сильной власти, способной преодолеть такие вещи, как извечная воинственность. Ряд европейских стран нашел эти формы в облике федерации. А вот Балканам, как сказано где-то у Данте, „та наука не далась“. И „трубка мира“ столетиями то разгорается, то затухает вновь.

12.01.1999

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

предлагает книгу

АЛЕКСАНДРА ВОРОНЕЛЯ

« В ПЛЕНУ СВОБОДЫ »

Сборник историко-литературных эссе, посвященных анализу социальных процессов, преобразивших Россию и Израиль в XX веке. Автор рассматривает эти процессы как своеобразную религиозную Реформацию. Центральная проблематика книги сосредоточена вокруг вопроса о смысле и ограничении понятия «свобода», о чем говорят заголовки ее разделов:

1. Свобода как неосуществимый проект.
2. Свобода в практическом применении.
3. Свобода как исполнение завета.

304 стр. В Израиле – 36 шек. Вне Израиля, с пересылкой – 16 долларов.

Чеки и заказы посылать по адресу:

"Moscow-Jerusalem", P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440, Israel.

ОТКЛИКИ

Игорь Ачильдиев

ПЯТЫЙ ВАРИАНТ

В 109 номере журнала „22“ опубликована статья Алека Эпштейна „Война как выражение обоюдного стремления (советско-германский пакт и начало второй мировой войны)“. Думаю, что статья вызвала у читателей большой интерес – и постановкой проблемы, и самой аргументацией. В ней приведено много фактов, выписок из документов, которые ранее были известны лишь очень узкому кругу архивистов, да и то не полностью. Во всяком случае, статья очень убедительна. Более того, я согласен с итоговым выводом автора: „Война началось только потому, что этого хотели партийно-военные олигархи обеих стран“.

И все же статья оставляет чувство недосказанной правды, после ее прочтения у меня создалось впечатление некоей недоговоренности, неточности в осмыслении реальной действительности, которая, сложилась накануне войны.

Прежде всего – о методологии подхода. Автор утверждает, что война всегда есть „выражение обоюдного стремления противоборствующих сторон: когда этого стремления нет, нет и войны“. Этот тезис легко может быть оспорен. Как неверно и то, что „во времена Клаузевица понятие „война“ было тождественно понятию „битва“. Ко времени Клаузевица мир знал и столетние войны. Я уж не говорю о том, что многие войны были принудительно навязаны противоборствующей стороне, которая вынуждена была обороняться. Войны бывают агрессивными – с одной стороны и справедливыми – с другой. (Кстати, термин „справедливая война“ пришел к нам отнюдь не из марксизма: если мне не изменяет память, его ввел еще св. Августин.) Тому в истории тьма примеров. Второе возражение не менее существенно. Если исходить из статьи

Эпштейна, то создается впечатление, что спор идет только между двумя точками зрения: одну отстаивает Виктор Суворов, другую – сталинисты и те, кто придерживается близких к ним взглядов, оправдывая Сталина и полагая, что Гитлер вероломно напал на Советский Союз. То есть спор идет между „суворовцами“ и „антисуворовцами“.

На самом деле и это далеко не так, спор возник не сегодня, ему много лет. В России он начался, как известно, в 1948 году весьма специфическим документом, который назывался „Фальсификаторы истории. Историческая справка“. Документ не подписан Сталиным, но, судя по стилю, несомненно или целиком принадлежит ему, или им лично отредактирован. Естественно, что в нем защищалась точка зрения Сталина на возникновение войны 1941-1945 года. (Мировая война, как это принято считать, началась раньше – 1 сентября 1939 году нападением на Польшу.) *Сталинская точка зрения* продержалась в советской исторической литературе весьма долго и была нарушена единственным, но сильным ударом – во времена хрущевской „оттепели“ вышла книга А.М. Некрича (1941. 22 июня), в которой утверждалось, что Гитлер обманул недалёковидного Сталина, перехитрил его, несмотря на массу сведений о подготовке войны и сроке ее начала. Даже когда неминуемая близость войны для всех стала очевидной, Сталин отвергал всяческие факты ее сиюминутного наступления, а верил Гитлеру, его обманным маневрам. Вести полемику, не упоминая имени и книги Некрича, на мой взгляд, даже несколько некорректно. Приведу из нее несколько фактов, которые свидетельствуют в пользу его точки зрения. Еще в мае 1941 года Сталину были доложены сведения, полученные от советского разведчика Зорге и его группы. „6 июня Сталину представлены данные о сосредоточении на советско-германской границе вражеской группировки, насчитывающей около 4 млн. человек“. Ему же доложено, что по указанию из Берлина немецкое посольство должно подготовиться к эвакуации в течение семи дней и с 9 июня там жгут документы. Советский Союз получил множества предупреждений от американцев и англичан, и не только от них, что нападение Германии готовится в июне 1941 года. Маршал Ф. Голиков, бывший тогда начальником Разведуправления Генштаба в интервью с Некричем заявил, что Сталин отлично знал положение и примерную дату начала германского наступления на СССР. Одним из

самых главных признаков усиливающейся военной опасности всегда было увеличивающееся количество вражеских агентов, которых забрасывали на будущий театр военных действий. Что происходило в те годы? „Число задержанных или уничтоженных вражеских агентов в 1941 году по сравнению с январем-мартом 1940 года увеличилось в 15-20 раз, а в апреле-июне 1941 года по сравнению с апрелем-июнем 1940 года в 25-40 раз“. Любой здравомыслящий политик должен был, просто обязан был, сделать из этого соответствующие выводы! Но даже когда начали бомбить советские города, Сталин отказывался верить, что война началась. Лишь когда основные силы гитлеровской армии втянулись в военные действия, тогда он „понял“, что это действительно война. Длительное время – до 3 июля! – Сталин „находился в растерянности“, не зная, что делать. Вот вам *вторая точка зрения*. Все это факты, которые никто никогда не опровергал и не может опровергнуть, потому что так и было. Да что там „данные военной разведки“!? Мой отец, который в мае 41-го находился в командировке в Ленинграде и взял меня с собой, чтобы я вечерами читал ему газеты (а мне тогда было уже десять лет), как-то в середине мая сказал, увидав карикатуру в газете, где немецкие войска сушат портянки на границе с СССР: „Надо срочно сматывать удочки и ехать в Москву, через месяц-другой Ленинград будет в блокаде, и нам отсюда не вырваться“. Мой папа был инженером, в политике разбирался слабо, но и он понимал, к чему шло дело. Тут не надо было иметь семь пядей во лбу или быть Нострадамусом. Разумеется, Сталин готовился к войне, понимал, что она на пороге. И смешно думать, будто Сталин доверял Гитлеру больше, чем своим агентам. Он и себе-то верил только по великим праздникам! В политике доверие – вообще вещь чрезвычайно редкая, а Сталин, хотя его и называли „самой выдающейся посредственностью партии“, был далеко не глупым политиком. Мерзавцем – да, садистом – да, бандитом – тоже не без оснований. Он не имел представления о том, каким может оказаться блиц-криг. Сталин знал, что его оборона не готова и сдержать танковый напор гитлеровской армии, собравшей под свои знамена чуть не всю Европу и ее промышленный потенциал, ему не под силу. Он с удовольствием начал бы войну, если бы знал, что имеет хоть ничтожные шансы на победу. Но были ли они у него? На что он надеялся, во всем уступая Гитлеру в 1940-м году до самого начала войны? Оттянуть

время, чтобы закончить перевооружение армии и снабдить ее современным оружием, как он, защищая себя, пишет в справке „Фальсификаторы истории“? Слабо во все это верится.

Но представим себе на минуту, что „суворовцы“ (*третья точка зрения*) правы, и Сталин действительно готовил агрессивную войну с Германией, которая должна была начаться по предположению Суворова с советской стороны 14 июля 1941 года. Должны ли были знать об этом Гитлер и его разведка? Наверняка! При том обилии разведанных, которыми располагали его агенты, засланные в СССР накануне войны и задолго до этого. Что же помешало Гитлеру объявить войну с СССР превентивной, то есть упреждающей удар большевиков? Подумайте, какой колоссальный козырь упустил в этом случае Гитлер! Ведь он давно трубил о том, что его главный противник - большевистская зараза. И сразу же общественное мнение мира стало бы на его сторону. Англия и США превратились бы в его союзников. Или уж, во всяком случае, держали бы нейтралитет. Но Гитлер этого никогда не делал и даже не пытался отрицать агрессивный характер своего нападения на СССР, хотя Меморандум германского правительства, зачитанный послу Деканозову в Берлине в ночь начала войны „содержал целый список пограничных инцидентов, стычек, перелетов пограничной зоны и т.д.“ (см. беседу Померанцева с переводчиком Риббентропа, опубликованную в русскоязычной берлинской газете „Европа-Центр“ № 12 за 1998 год „Так началась война“). Нет, тут что-то не в ладах с политической логикой фюрера и вождя народов: оба они, выходит, совершали явно глупые поступки, что на них вовсе не похоже. Ни тот, ни другой не были политическими идиотами.

И тут, чтобы понять смысл и подоплеку происходящих событий, необходимо несколько изменить подход к проблеме, которую поставил в своей статье Эпштейн (*четвертая точка зрения*). Война всегда есть продолжение внутренней политики, но иными средствами. Это старая истина, и, следовательно, чтобы приблизиться к ней, надо изменить методику исследования, приблизив ее к реалиям Советского Союза и Германии 1941 года. Не к внешнеполитическим документам, заявлениям, воспоминаниям и даже выдержкам из Устава РККА (многие из них имели чисто пропагандистское значение), а именно - к реалиям внутренней жизни СССР и Гитлеровского рейха.

С гитлеровским рейхом все обстоит достаточно ясно. Теория и практика немецкого фашизма основывалась на двух опорах. Первая: агрессия по отношению к большинству стран Европы. Вторая: частичное уничтожение „слабых“ наций (ну, например, славян) и полное – „вредных“ групп (евреев, цыган и т.д.), а также коммунистов. Культ „сильного человека“, „нордической расы“ стал не только идеологией гитлеровской Германии, но ее реальной практикой. К 1941 году победы нацистов (причем малой кровью) резко обогатили немецкий народ, привлекли к Гитлеру всенародную любовь и восхищение. Россию он хотел завоевать не только из идеологических побуждений, но и потому, что земли Украины и центральной черноземной области дали бы возможность немецким промышленникам получать дешевую железную руду и уголь, а немецким фермерам стать крупными землевладельцами, самыми процветающими в мире. Все страны Западной Европы были покорены или стали союзниками Германии. Холокост начал претворяться в жизнь. Оставалась лишь Великобритания, в панике ожидавшая высадки немецких войск со дня на день. Армии Германии и союзных стран были отмобилизованы, отлично укомплектованы и в большинстве своем прошли выучку в боевых условиях. Они верили своему вождю, его гению. В народе царили подъем и ликование. При этом в стране сохранялись до определенной степени рыночные отношения, промышленность и прикладная наука развивались стремительными темпами, обеспечивая армию новейшими достижениями. Гитлер был готов начать военные действия в любую минуту, дата 22 июня была в достаточной степени условна, ее могли перенести и на несколько дней вперед.

Совершенно иначе обстояло дело в другом стане. Советский Союз строил социализм, а не фашизм. Социализм по своей принципиальной концепции во многом отличается от фашистской идеологии. Да, практика показала, что его невозможно построить без тоталитаризма, без централизованного управления и свертывания рыночных отношений как в городе, так и в селе. Рыночные отношения в СССР были сведены к минимуму, деревня коллективизирована, что обеспечивало управление ею аппаратно, централизованно. Она постепенно обретала „городской“ статус, где крестьянин стал не производителем, а рабочим на полугосударственном

предприятии. Тоталитаризм в СССР приобрел даже более свирепые формы, чем нацизм в Германии. К 1941 году он потопил в крови и похоронил от голода не менее 20 миллионов человек. Только во времена „Большого террора“, то есть в 1937-1938 году, было репрессировано более полутора миллиона человек, расстреляно – 681 тысяча. Уровень жизни советских людей на протяжении многих лет практически не улучшался, никаких серьезных материальных выгод народ не получил. Экономический кризис, начавшийся еще на Кронштадском льду, так и не закончился к 1941 году. Промышленность развивалась, хотя и быстро, но достаточно странно. Заводы работали на износ, что приводило порой к снижению выпуска важнейших видов продукции. В 1939 году производство чугуна сократилось против 1938 года на 132 тысячи тонн, выпуск стали – на 493 тысячи тонн, выпуск проката на 529 тысяч тонн. Страна жила в сверхнапряжении, расходы на оборону в 1941 году официально составили до 43,4% госбюджета. Раз поставленные, заводы умели производить только ту продукцию, которая планировалась изначально, технически усовершенствовались слабо, внедрять на них новую технологию было просто мучением. Научные новинки годами валялись неиспользованными. Крупнейшие советские ученые, в частности те, кто имел отношение к созданию военной техники, работали в „шарашках“, то есть из-под палки. В конечном итоге создалось положение, когда большинство народа просто не хотело трудиться, не видя перед собой никакой перспективы. Люди не верили властям, прогуливали, опаздывали на работу, которой не дорожили. Сталин ввел драконовские законы – 1932 года, когда на десять лет сажали за украденную с колхозных полей морковь или жменью зерна, и в 1940 году – об ответственности за прогулы. Был введен 8-часовой рабочий день и 7-дневная рабочая неделя. За опоздание на 21 минуту (тогда это называлось „сыграть в очко“) рабочий подлежал уголовному наказанию. По этому Указу было осуждено около миллиона человек. Судили не только рабочих, но и руководителей, которые укрывали прогульщиков. Судили судей, которые „плохо“ судили подобных руководителей. Ничего не помогало – люди не хотели работать!

Не следует думать, что то были ошибки Сталина. Нежелание работать – общая черта практики любого социализма, когда всем все „до лампочки“. Война с Гитлером ничего хорошего не сулила. Солдаты не верили своим полководцам, которые рассматривали

их как пушечное мясо. Это в полной мере показала война с Финляндией.

Поэтому нельзя согласиться с мнением Ю. Дьякова и Т. Бушуевой, что „в Советском Союзе свирепствовал самый настоящий фашизм“. Нет, социализм – строй особый, отличный от фашизма и по идеологии, и по практике!

Кстати, Сталин, надеясь подстегнуть свой народ, не раз пугал его угрозой войны со стороны Англии, Японии и других стран – ни одно из его предсказаний не сбылось. Разумеется, находясь под боком у Гитлера, Сталин не мог не готовиться к войне. Но как реальный и прагматичный – более того, циничный политик – он понимал, что война с Гитлером „один на один“ безнадежна. Он понимал и другое: чем дальше оттягивается начало войны, тем Гитлер будет сильнее, а Советский Союз – слабее, ибо с каждым годом его техническое и моральное отставание становилось все заметнее. Поэтому Сталин должен был стремиться к войне, которая началась бы как можно раньше, понимая при этом, что будет разгромлен!

Выхода из тупика – по крайней мере, достойного, – не было.

И все-таки он нашел ту щель, в которую просочился и которая спасла лично его и его режим в те предвоенные месяцы!

ТОНКАЯ ПРОВОКАЦИЯ

Вот с какими итогами Гитлер и Сталин подошли к роковой черте июня 1941 года. Первый не строил из себя великомученика, который обороняется от коммунистов, а открыто напал на Россию, не скрывая своих конечных целей: уничтожение евреев и большевиков, частичное уничтожение славян и закабаление остальных, расчленение сталинской империи и превращение ее в колонию – до Сибири. А второй, Сталин, как раз делал вид великомученика, стремящегося только к обороне своего Отечества от гитлеровской чумы. Не случайно в разговоре с Гарриманом он как-то сказал: „Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию, не будет он сражаться и за советскую власть. Может быть, будет сражаться за Россию“. Ничего не скажешь: горькое признание. Но очень точное! Сталин все свои политические активы карточного игрока бросил на чувство патриотизма, никакой марксистско-

ленинской идеологией с ее идеей восстания мирового пролетариата он не руководствовался и не мог даже брать ее в минимальный расчет: опыт войны с Финляндией и пакт Риббентропа-Молотова научил кое-чему и рядовых социалистов, и коммунистов всего мира. В общественном мнении мира к 1941 году после сталинских провалов в Испании и Финляндии, после захвата Советским Союзом стран Прибалтики и Бессарабии произошел резкий перелом. Не случайно же СССР был исключен из Лиги Наций!

Итак, Сталин находился в тупиковом положении перед началом войны: и напасть нельзя, и не напасть нельзя – чем дальше отодвигается война, тем хуже для сталинского режима. Судьбы отдельных людей и народов, миллионы погибших, умерших от голода и в плену – все это Сталина не интересовало, он и без войны отправлял на те же муки десятки миллионов. Его волновало одно: сохранение своего режима власти. Из этого и только из этого следует исходить, анализируя его действия перед войной. Политически и стратегически задача заключалась в том, чтобы побудить Гитлера напасть на Советский Союз, и как можно скорее. Пока еще пыхтят старые заводы, пока народ не окончательно вышел из повиновения. Сталин нуждался в союзниках, обладающих огромной экономической базой – США и Великобритании. Но их можно было заманить на свою сторону только одним: стать жертвой агрессии. Значит, надо было выманить Гитлера из его логова, заставить его первым ударить по Советскому Союзу. Следовало подставиться, сделать вид, что ты слаб, безволен и к войне абсолютно не готов. Юристы отлично знают подобную тактику, когда „жертва – насильник“ связаны одной веревочкой, такая ситуация обычно называется провокацией. Что же делает в этом случае Сталин?

Среди прочих шагов, два, на мой взгляд, были главными. В первых, приезд Молотова в Берлин 12 ноября 1940-го года. Гитлер сулил Молотову „золотые горы“, если Москва присоединится к Пакту стран „оси“. Молотов весьма холодно выслушал гитлеровскую речь, не проявил к ней никакого интереса и в ответ потребовал немедленного вывода немецких войск из Финляндии. Гитлер был как громом поражен! В политике с ним никто так не разговаривал. Продолжение беседы на следующий день ничуть не изменило ни позицию Молотова, ни его холодность. Черт возьми, Советский Союз еще чего-то требует?! Не было ничего хуже, чем подобный стиль в отношениях с Гитлером. Он вызвал у фюрера приступ

ярости. Но Гитлер сдержал себя и направил Сталину письмо с предложением все-таки вступить четвертым в трехсторонний Пакт стран „оси“. Сталин медлил две недели с ответом. А в нем он опять заявил, что в принципе не возражает вступить в Пакт, но требует немедленного вывода немецких войск из Финляндии. Гитлер даже не ответил на это письмо. К концу ноября его штабисты уже проигрывали учения, связанные с нападением на СССР. Нетрудно понять, что, проиграв частный спор, Сталин выиграл стратегический. Во-вторых, надо было полностью и без всяких оговорок выполнять все заказы гитлеровской экономики, поставляя точно в срок масло, яйца и прочее продовольствие. Кстати, последний грузовой состав, уже после полуночи 22 июня пересекавший советско-германскую границу, был набит продовольствием для Германии. В это время немецкие самолеты уже прогревали моторы перед вылетом на первую бомбежку советских городов. Состав можно было остановить перед самой границей, но Сталин и этого не сделал! Проиграв тактически, он выигрывал в главном. Сталину надо было до самого конца провокации играть роль добросовестного партнера, свято верующего в ответную добросовестность Германии. Поднимать тост за здоровье Гитлера. Изредка критиковать его за агрессивные передвижения войск, чтобы дать понять мировому общественному мнению (именно ему, а не себе!), к чему Гитлер готовится. Сталин добивался, чтобы фашисты поняли, будто он их боится смертельно, готов на любые уступки, лишь бы не было войны. В этом он уверял и свой народ: „Чужой земли мы не хотим и пяди, но и своей земли не отдадим!“ Отсюда двойственность его военной стратегии. Готовится вроде к войне наступательной, и это верно! А, с другой стороны, хотя и медленно, строит оборонительные сооружения. В этом заключалась провокация, которая дезинформировала не только Гитлера, но продолжает дезинформировать многих и по сию пору.

Такую точку зрения трудно принять и понять, она кажется чудовищной, ведь это крупнейшее в истории злодеяние против собственного народа! Тем не менее Сталин пошел на провокацию, ибо как прагматичный политик не видел иного выхода. (Впервые эта точка зрения была высказана мной в статье „Сталин как мастер дезинформации“, опубликованной в германской газете „Русский Берлин“ № 27 за 1996 год.) Характерно, что многие из исследователей вопроса очень близко подходят к этой мысли, но как бы не

решаются ее высказать, инстинктивно боясь вообразить себе сталинское злодейство. Ю. Горьков, которого цитирует в своей статье Эпштейн, пишет, к примеру, что „все документы оперативного плана позволяют сделать вывод о том, что Советский Союз не готовился к нападению на Германию первым“. Дальше этого он не идет, и Эпштейн, казалось бы, справедливо иронизирует над ним: „Значит, Советский Союз готовился к нападению на Германию вторым?“ Между тем, иронизирует зря: вот именно – вторым. Изумляет, что эта простая мысль не приходит в голову никому из спорящих между собой „суворовцев“ и „антисуворовцев“. А Сталин, который, видимо, давным-давно замыслил эту жестокую операцию над миром и своим народом, планами ни с кем никогда не делился. Видимая миру „растерянность“ Сталина относилась не к началу войны, в которую он своей тонкой провокацией втянул Советский Союз, а к масштабам поражения, которых он не ожидал. Сталин рассчитывал, что отступление продлится не более двух недель, ну, от силы месяц. За это время он договорится с будущими своими союзниками – США и Великобританией – и перейдет в наступление. Но помощь от союзников уже пойдет, патриотизм советского народа возьмет свое, а Сталин на белом коне въедет в Берлин. Все сбылось... Жертвы, принесенные на алтарь войны, были просто потрясающими. Сталин не ожидал, что гитлеровцы дойдут до Москвы. Но все остальное – он предвидел, надо отдать ему должное.

Позволю себе некоторое отступление. Мысль о „гениальном предвидении товарища Сталина“ мне впервые высказал один человек еще в 1973 году. Это был Иосиф Абрамович Каттель, первый начальник строительства Комсомольска-на-Амуре. В 1938 году, когда он строил грандиозную „Челябу“, его посадили, приговорили к расстрелу. Потом заменили расстрел на 10 лет. Год он провел в лагере. Вдруг за ним приехал какой-то НКВДэшный полковник. Каттеля переодели в нормальное платье и повезли в Иркутск. Там ему предложили построить серию аэродромов – до Аляски. За каждые построенное летное поле заключенным снимали год лагерного срока. По этим аэродромам потом, сразу после начала войны, в СССР стали поступать американские „Аэрокобры“. Похоже, уже тогда, в 1939 году, заключая пакт с германией, Сталин, ухмыляясь в усы, задумывал свой план провокации! Он был типичным надувалой. О таком типе людей гениальный Эдгар По

писал в рассказе „Надувательство как точная наука“: „Он приходит домой. Запирает дверь. Раздевается. Задувает свечу. Ложится в постель. Опускает на голову подушку. И по завершении всего этого широко скалит зубы... Ибо надувательство без ухмылки - не надувательство“. Портрет, словно списанный со Сталина!

Мне кажется, что в споре о начале войны 1941-1945 годов точка едва ли будет поставлена, если не учитывать *пятого варианта* - провокацию войны Сталиным. Разумеется, в коротком отклике на статью многое очерчено лишь схематично и требует дальнейшей проработки. Но основная идея ясна: пятый вариант начала войны вполне имеет право на существование. Это, разумеется, никак не колеблет основного вывода статьи Алека Эпштейна. Но ее положительная роль заключается еще и в том, что она наводит на любопытные размышления о политиках и политике XX века, с которым мы прощаемся. В самом деле, мыслимо ли представить себе поведение сегодняшних политических деятелей мирового масштаба в рамках тех идеологий и психических установок, в которых действовали Гитлер, Сталин, Чемберлен или Даладьё? Как сказал один либеральный историк, биограф Адольфа Гитлера, в „бурное лето 1939 года не было ни одной страны, которая не действовала бы, исходя из той или иной ошибочной концепции. Европа была средоточием недоверия, обмана, двурушничества... Все страны интриговали за спиной друг друга, и банальности перемежались угрозами“ (Джон Толанд, „Адольф Гитлер“). Психология политиков - „пауков в банке“, как прежняя политическая парадигма, с момента второй мировой войны - в основном под влиянием нравственной позиции Франклина Рузвельта, которого гитлеровская пропаганда называла не иначе, как Розенфельдом, - начала меняться. На авансцену выступили политики, чье кредо было окрашено в иные нравственные тона, и чем это явственнее, тем большей силой, авторитетом такой политик пользуется. Рузвельт, Гавел и многие другие стали прорывать прежние паучие сети, образуя новую парадигму в политической картине мира. Отстаивание прав человека, поиски справедливости и нравственных устоев в политике постепенно определяют новый ее этап. Сумеет ли XXI век подхватить эту новую политическую парадигму, сделать ее нормой политического поведения? Или мы вновь обратимся к черным векам? На оба вопроса может ответить только время.

ОБ ЭРОТИЧЕСКОМ ОТРАЖЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Поводом для моего обращения в редакцию „22“ послужила заметка А. Ротшильда „Художественная лепка образа себя“ („22“, № 107, 1998) о книге стихов Риты Бальминой „Флорентин, или послесловие к оргазму“ и четверостишье, открывающее эту книгу:

. Для ночи догола раздета
Луна - бесплатная блудница
На бледный пенис минарета
От вожделения садится.

Не оригинальности ради, а по искреннему восприятию созерцательная аллегория Р. Бальминой „луна-минарет“ нравится мне куда более, чем классическое „если б милые девицы все могли летать, как птицы, и садились на сучки...“, в котором явственна „личная заинтересованность“ автора.

Поиск оптимального компромисса между физиологией чувств и их поэтической интерпретацией представляется одной из наиболее рискованных форм творчества, когда опасность шага влево - вправо значительно острее, чем, к примеру, в сочинении оргазма музыкальной коды симфонического произведения. Ибо „вначале было слово!“

И дело здесь вовсе не в том, что читатель, особенно советский, закаленный многими годами шоковой „поэзии“ реальной жизни, тем не менее может быть шокирован сексологической терминологией.

Как верно говорит А. Ротшильд в своей статье, стихи Р. Баль-

миной, естественно, воспринимаются людьми по-разному, особенно теми, кто в половой жизни имеет проблемы. Я бы сказал более того: думаю, что даже результаты физико-математических исследований воспринимаются специалистами по-разному, в зависимости от степени их сексуальной состоятельности, если не теперь (для маститых), то, по крайней мере, в прошлом.

Вдохновленное одним из великих инстинктов, эротическое воображение и порождаемые им аллегории в творчестве являются предметом специальных исследований, и не мне, впервые пишущему в художественный журнал и профессионально далекому от литературной критики, делать попытки в этом направлении.

Однако позволю себе сказать, что острая опасность, подстерегающая авторов эротической поэзии состоит, видимо, в том же, что и в искусстве стриптиза, вбирающем в себя весь диапазон нюансов: от тех, что приводят в экстаз завсегдаев портовых кабаков, до тех, что возвышают душу в классическом балете.

Чувство меры! Думаю, что из всех великих определений, которые способно было изобрести человечество, мера - главное из них. И здесь, как и в оценке таланта, все в двоичном коде: либо есть, либо нет, и никаких полутонов.

У Риты Бальминой дарование и чувство поэтической меры столь же безусловны и органичны, как органично состояние безмерной влюбленности, не ведающее мотивации. В связи с этим, мне не хотелось бы соглашаться с А. Ротшильдом в том, что поэтессе „столько сил приходится прилагать для создания собственного поэтического образа, ...что на восприятие счастья энергии уже не остается“. Нет, думаю, что это не „художественная лепка образа себя“, а талантливое и непреднамеренное отражение генетически страстного мироощущения.

Что касается счастья, то разве бывает так, что на его восприятие не хватает энергии? Прижизненно это невозможно!

Я согласен с фамильной щедростью А. Ротшильда, когда он пишет, что „если бы от меня зависело, я назначил бы все поэтам приличный достаток и ниспослал бы им уютное счастье – пусть даже в ущерб стихосложению“. Посильным образом я готов присоединиться к такому благоденствию, но, думаю, что поэт в счастье и достатке так же маловероятен, как стихия в постоянном покое.

Прочитав приведенное выше четверостишие Р. Бальминой, мне вдруг захотелось дописать его, как бы обозначив тем самым свою

причастность к созерцанию из Харькова ночных израильских силуэтов, внеся при этом в статичное состояние Луны некий временной фактор.

Но быстротечен пир любовный,
И ханжеский приход рассвета
Безжалостно и хладнокровно
Луну снимает с минарета.

Уважаемая редакция! Я понимаю всю меру моей дерзости в посягательстве на страницы вашего журнала, с главным редактором которого я познакомился в Харькове много лет тому назад благодаря моим друзьям Марку Минцу, Эммануилу Канеру и Виктору Конторовичу. Сейчас мне трудно вспомнить, но, кажется, „приложил к этому руку“ и М. Азбель. В это созвездие известных физиков-теоретиков я затесался как соученик по школе, но и потом Канер и Конторович оставались моими самыми близкими друзьями.

Сейчас, коснувшись былого, вспомнил давнее, ставшее почти легендой. Нина Воронель (в ту пору просто Нелка) провожала с Южного вокзала Харькова Сашу Воронеля на очередную конференцию в Москву. И когда до отхода поезда уже не осталось ничего, Саша сказал: „Нелка, поехали со мной!“ И она, как все потом говорили, „в чем стояла“, села в вагон и поехала.

Воистину, для счастья энергии всегда достаточно, она лишь переходит с одного уровня на другой, оставляя даже у счастливых горький привкус необратимости. Так сложилось, что по роду своей профессии я до сих пор люблю термодинамику и ее Второе начало, в котором не без некоторого самоуспокоения нахожу оправдание тому, что уже не так молод, как того бы хотелось. Наверное, в моменты этого, как бы извне, созерцания течения времени и появились у меня такие строчки.

Энтропия растет в увядании роз,
В притуплении чувств, в замирании гроз
И в прощении нам не прощенной вины
В жизни той, что течет в эпицентр Тишины.

Пусть прекрасные розы распустятся вновь,
Прогремят в небе грозы и будет любовь,

Но в еще не остывших страстях растворясь,
Уже ждет тишина, до поры затаясь.

И правит трагизмом вселенской судьбы
Неумолимый закон Тишины!

Неискушенность в литературном жанре, видимо, и породила эклектичность сказанного мною в этих заметках. Поэтому, стремясь как бы к целостной направленности и возвращаясь к поводу написания уже сказанного, мне в заключение хочется вернуться к жанру эротической поэзии и в качестве сувенира из Харькова для Риты Бальминой и любимого журнала „22“ передать такие строчки.

В свидании любовно-роковым,
Во мраке ночи не различить масти.
И Туча с Молнией в экстазе грозовом
Вмиг разрядили напряженье страсти.

Но, рискуя стать обвиняемым в покровительстве лесбийским страстям, я вынужден привести еще одну цитату из моей графомании.

Гром тучку трахнул так,
Что тучка прослезилась.
Нет худа без добра -
Земля дождем умылась.

Спасибо, что есть ваш журнал, в котором, как среди близких и родных друзей, можно поделиться тем, что другим доверять не хотелось бы.

А. Быховский (Харьков)

В № 106 вашего журнала было опубликовано эссе В. Юхта „Харьков как форма духовности“.

„Что такое Харьков?“ - растерянно спрашивает автор эссе. Столица или провинция? Город или деревня? Скорее всего, город. Но сточки зрения духовно-культурной - провинциальное захолустье. Потому что крупные литераторы такие, например, как Маяковский и Мандельштам не останавливались здесь надолго. Задержался только Хлебников. Да и то не по своей воле. Его задержали. Надо сказать, „задержали“ в Харькове не его одного. Но эссе, похоже, не о том. Судя по названию, о харьковской духовности.

И автор, видимо, вспомнив, что в отпуск на Кавказ и в Прибалтику он ездил по железной дороге (ведь Харьков, обладая по значению третьим в СССР научно-техническим потенциалом, был еще и крупнейшим в стране железнодорожным узлом), находит-таки эффектную и компактную формулу для ее определения: Харьков - это перевалочный пункт, место транзита. И называет литераторов, переехавших из Харькова, главным образом, в Москву.

Так оно, видимо, и есть. Да, для многих людей Харьков был местом транзита. Остается лишь уточнить вектор и масштаб. Сделать это невозможно, не упомянув два литературных имени.

В своей написанной и изданной в Харькове книге „О белых ночах и красных днях“ Артур Кестлер описал свое путешествие на дирижабле над одной из северных областей СССР. Тогда он, верно, и подумать не мог, что в одном из увиденных им с высоты полета барakov вполне мог находиться его харьковский коллега, впоследствии названный „украинским Солженицыным“, И. Багряный. В начале 30-х его арестовали в Харькове и отправили в концлагерь. А в 1941 году вернули в город - во внутреннюю тюрьму НКВД. Оттуда его освободил наступающий вермахт. Но задержаться в Харькове писателю удалось и в самом деле ненадолго. Новую

власть он тоже не устроил. Бедняга по свежим впечатлениям написал пьесу, которую тут же запретили. Спасаясь от гестапо, он бежал из наших краев через Львов и Мюнхен в Канаду. Вдали от Кавказа и Прибалтики проходили и пути странствий А. Кестлера. Став английским писателем, он написал воспоминания, из которых видно, что не последнюю роль в превращении этого видного коммуниста в „рыцаря холодной войны“ сыграли его харьковские впечатления.

Но уехали и Кестлер, и Багряный, и те, кого в алфавитном порядке перечислил Юхт, и многие другие. Образовалась черная дыра. Вакуум. Некоторые, правда, остались. Чичибабин, например, и, добавим, Муратов. Но теперь и их не стало. Дыра стала еще чернее. Вакуум глубже. И тогда перед „одиноким интеллигентом“ встает неизбежный вопрос: а можно ли вообще жить в этом черном, захолустном и культурном вакууме? Отчего же нет? Можно, конечно. Раз Чичибабин жил, значит, можно. Уезжать вовсе не обязательно. Но остаться может не всякий желающий. Это непростое дело по плечу лишь тому, кто привык рассчитывать на собственные силы. А что, интересно, те, кто уезжает, рассчитывают на кого-то другого, кроме самого себя? Может, на французский Иностранный легион или на корпус морской пехоты США? Разумеется, и для того, чтобы остаться, и для того, чтобы уехать, необходимы силы. Желательно, свои собственные: в таких случаях брать с кого бы то ни было пример бессмысленно. Но не менее важным иногда оказывается осознать необходимость что-то изменить в своей жизни. А вот этого в эссе как раз и нет. Напротив, в нем настойчиво звучит мотив ностальгии по дням ушедшим. По мизерной, но регулярно выплачиваемой зарплате, по вынужденной, но стабильной работе. Нормальной называется жизнь, при которой запрещают фильмы, книги, людей. Когда под хоралы Баха обсуждают книги, авторов, которых убили, посадили или выслали за их убеждения. Спору нет, пожилых людей, вынужденных заниматься непривычным физическим трудом, жалко. Но теперь мне уже не кажутся чужаками двое моих знакомых, один из которых наотрез отказался ездить в Прибалтику на оккупированные курорты, а другой остался без средств к существованию, уволившись с военного завода.

Несомненно, у каждого совершаемого человеком поступка, будь то отъезд, приезд или эссе, может быть множество конкретных

причин. Не стану, однако, искать ответа на вопрос, почему автор дал именно такую, а не другую картину Харькова как духовного пространства. Но коль уже речь зашла о духовности, скажу, что в этом городе, помимо крупных поэтов, трудились, иногда подолгу, значительные композиторы, дирижеры, режиссеры, актеры и ученые. Да и архитектура здесь не такая уж окраинная, как это себе представляет автор эссе. Но в этом ли только дело?

Вышли в свет новые книги
ВАЛЕНТИНА КРАСНОГОРОВА

„ЧЕТЫРЕ СТЕНЫ И ОДНА СТРАСТЬ

или

Драма – что же это такое?“



„ПРЕЛЕСТИ ИЗМЕНЫ“

(сборник пьес)

Валентин Красногоров известен как драматург, прозаик и публицист.

«Четыре стены и одна страсть» – размышление писателя о сущности драмы.

Книга написана живо, увлекательно и высоко оценена многими известными деятелями литературы и театра.

В сборнике «Прелести измены» представлены пьесы, сыгранные в лучших театрах России: БДТ им. Товстоногова. Малом драматическом театре в Петербурге под руководством Льва Додина, Академическом театре им. Пушкина (Александринке) и др. Трагедия «Собака» поставлена также в США. Сюжет этих пьес вечен и прост – встречаются мужчина и женщина...

Цена каждой книги в Израиле – 18 шек.,

в других странах – 8 долларов США (не считая пересылки).

Желающие приобрести книги могут обратиться к автору:

11/20 Ha-Prahim St., Haifa 34733

тел.: 972-4-829-3461, 972-4-824-7538; факс: 972-4-867--9365

E-mail: merghvf@tx.technion.ac.il

КНИГИ И ЛЮДИ

Феликс Рахлин

ГРЕШНИК-ПРАВЕДНИК

Две книги о Борисе Чичибабине*

«Вот о ком хотелось бы знать как можно больше – все до подробностей или хотя бы главное. Каким он был в жизни с людьми, с женщинами, с книгами? Были ли у него друзья? ...Мне он представляется страшно одиноким, никому не близким. ...И всю жизнь ругаемый, прорабатываемый, читателям неизвестный, под страхом ареста. Сам-то он знал, кто он? Вот судьба, вот жизнь».

Читая цитату, вынесенную в этот эпиграф, можно подумать, что она – о Борисе Чичибабине: так все подходит! Но нет, это его собственные слова об Андрее Платонове. И вместе с тем, не правда ли, критерии оценки любой биографической книги. В том числе и о нем самом!

Более всего этому критерию соответствует та, „в стихах и прозе“, которую он сам еще при жизни подготовил к печати. Правда, авторский отбор оказывается порой избыточно требовательным. Такие случаи бывали: например, гениальное стихотворение Лер-

* Борис Чичибабин в стихах и прозе / Художник-оформитель Б.Ф. Бублик. Харьков: Фолио; СП Каравелла, 1998. – 463 с.

Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях / Составители: М.И. Богославский, Л.С. Карась-Чичибабина, Б.Я. Ладензон. Художник-оформитель Б.Ф. Бублик. Харьков: Фолио, 1998. – 463 с.

монтова „Парус“ в его прижизненные издания не включалось. Мне известны десятки стихотворений Чичибабина, вполне достойные этого, оказавшегося посмертным, сборника, но сам он, видимо, их таковыми не считал. Например, потрясающую по красоте элегию „Снег на крышах и вершинах“.

И, однако, эта книга – и самая полная, и самая содержательная из всех его книг. Она полнее, репрезентативнее всех других свидетельствует о его жизни и личности. Поэтому именно ею мы и будем пользоваться, комментируя этой „лирической автобиографией“ блок статей и мемуаров, собранных во второй из рецензируемых книг.

Стоит, пожалуй, сказать, что, кроме общего для всех читателей права судить о любой прочитанной книге, у меня, в данном случае, есть и, как мне кажется, некое дополнительное основание: мы с поэтом были близко знакомы и общались с конца 1945 года и почти до самой его кончины. Со своих 14-ти лет в течение всей своей жизни я испытывал могучее влияние его поэзии и личности, был (правда, лишь в доступной мне „многотиражке“) одним из первых публикаторов его стихотворений в конце 50-х гг., затем, в 1967-м, репликой в „Литературной газете“ защитил его, как мог, от нападков зашумевшей критики. А очутившись в Израиле, принялся знакомить здешнего русскоязычного читателя с творчеством и биографией этого замечательного русского поэта, в течение всей жизни своей выражавшего горчие симпатии еврейскому народу и ненависть к антисемитизму (мною опубликованы в здешних изданиях большие подборки его стихотворений, а также ряд статей о его жизни и творчестве). Говорю это лишь для того, чтобы подкрепить в глазах читателя свое право на некоторые замечания и коррективы к мемуарам и статьям людей, которые были связаны с Борисом Чичибабиным интимной дружбой, а также и тех, кто как литераторы гораздо квалифицированнее меня.

Итак, руководствуясь им самим намеченной канвой, зададимся теми же вопросами:

„Были ли у него друзья?“

Сама книга статей и воспоминаний – яркое подтверждение: да, были! Много друзей – талантливых, своеобразных, нежно его любящих, преданных дружбе и Поэзии. Один перечень авторов дорого стоит:

Марк Богославский, друг всей жизни. А ведь поначалу они разминулись: Бориса как раз посадили, когда Марк, вернувшись из послефронтовых госпиталей, поступил в университет и впервые прочел чичибабинские стихи. „Его стихи ошеломили меня“, – пишет Марк. А ведь он и сам – поэт, талантливый, плодовитый. Марк тогда написал стихи, оказавшиеся пророческими. Помню с тех пор строчки, обращенные к узнику Вятлага: „Мы встретимся, Борька, я знаю: кому укротить наш разбег?“. Они встретились, сдружились, многие годы были неразлучны. Воспоминания Марка – из самых точных в книге.

Генрих Алтунян, известный правозащитник 60-х – 70-х гг. – один из прославленной в чичибабинских стихах „Павлопольской брашки“ (Павлово Поле – харьковский жилой массив).

Григорий Померанц и Зинаида Миркина – супруги, москвичи. Он – известный философ-идеалист, она – поэт, религиозный лирик. С этими именами связано мировоззренческое возрождение Чичибабина в конце 60-х – начале 70-х гг.

Александр Верник, поэт, один из учеников-литстудийцев Чичибабина, ставший близким другом своего наставника, принимавший его в своем иерусалимском доме в 1992 и 1994 годах (помните: „пить с друзьями старыми бренди на веранде“? – на веранде у Саши Верника! Ему поэт неоднократно посвящал проникновеннейшие свои стихи).

Аркадий Филатов, друг и соперник Бориса в поэзии, тонкий и оригинальный стилист.

А еще: *Евгений Евтушенко, Феликс Кривин, Владимир Леонович, Жорж Нива, Мыкола Руденко, Иван Дзюба* – и, как говорится, „многие другие“, знаменитые и безвестные – некоторых мы еще назовем по ходу дела... Тут и школьные однокашники, и еще несколько литстудийцев, и кровно близкие поэту люди: его сестра, его жена... К сожалению, среди авторов сборника (а их – сорок два) мы не увидели воспоминаний сорок третьего: одного из составителей, Бориса Ладензона. Того, к кому поэт обратился с трогательной просьбой: „Будь мне братом, Борис Ладензон!“ Этот ближайший друг поэта, видимо, поскромничал.

У Чичибабина – при том, что сам он себя считал нелюдимом – был великий талант к дружбе, он обладал каким-то особо притягательным силовым полем дружеской любви, но сам отличался в выборе друзей сугубой избирательностью, что отмечает и кто-то

из воспоминателей. При всей чувствительности к литературным авторитетам, он полностью был чужд низкопоклонства и подобию страсти. Характерный анекдот пересказывает Юрий Милославский о сцене знакомства Чичибабина с Евг. Евтушенко:

„Евг. Евтушенко (*протягивая руку, с подъемом*): Евгений Евтушенко, поэт!

Бор. Ал. (*отвечая на рукопожатие, невнятно бурчит*): Борис Чичибабин, бухгалтер“.

Выдумка, всего вероятнее, но – меткая. Борис неоднократно декларировал свой демократизм:

Сторонюсь людей ученых,
мне простые по душе... –

и, в самом деле, не гнушался „простых“ (вспомним и первый, и второй его брак: с Клавой, с Мотей...). Но фактически – куда денешься от фактов? – предпочитал общение с „учеными“. Среди мемуаристов не нашлось таких, кто бы отметил, что в известный период он близко сошелся, например, с физиками М. Азбелем, супругами Воронель, С. Сазиновой, ее мужем – лингвистом Е. Бейдером, лингвистом же Ренатой Мухой...

Естественно, воспоминатели не могли обойти вниманием такую фигуру „при Борисе“, как Алик Басюк. О нем пишут Богославский, Милославский, Верник... Забавно, что последний „купился“ на одну из мистификаций Басюка: будто бы тому подбили глаз в лагере (на самом деле Алик ходил с бельмом еще до того, как его в 1950 году арестовали!). Но, к сожалению, никто не отметил, что, когда этот „пропащий человек“, алкаш и лгун смертельно заболел, Борис и Лиля (таковы мои сведения) посещали его в больнице и заботились о нем до конца.

Да, дружить поэт умел! И однако в какие-то моменты жизни даже среди близких ощущал себя невыносимо одиноким.

В кругу моих друзей, меж близких и любимых,
О как я одинок! О как я одинок!

„Каким он был в жизни с людьми?“

Менее всего мы найдем благостности в его самооценке:

Во сне вину мою несу
и – сам отступник и злодей –
безлистным деревом в лесу
жалею и боюсь людей.

Эти стихи 1968 года цитирует ряд авторов: Милославский, Верник, кто-то еще. *Евгений Шкловский* услышал другое – „готовность к диалогу, ...признание в любви“:

Люди – радость моя,
вы – как неуходящая юность, –
полюбите меня,
потому что и сам я люблю вас...

Никто, однако, не догадался эти два стихотворения сопоставить или противопоставить. А ведь написал – один поэт! И в обоих случаях написал правду. Харьковский том стихов и прозы, избранных самим автором, соответствует духу его не только в высоких помыслах, но и во всем грешном, повседневном, порой противоречивом, благодаря чему создается автопортрет невиданно бесстрашный и жертвенный:

...Но, тишь возмутив, окаянное дно
я в чаше увижу
и в ночь роковую набычусь хмельно,
и друга обижу.

И стану в отчаянье, зюзя из зюзь,
стучать по стаканам
с надменной надеждой: авось откуплюсь
стихом покаянным.

Упершись локтем в ненадежность стола,
в обличье убогом,
провою его, забывая слова,
внушенные Богом...

„Зюзей из зюзь“ – это, конечно, преувеличение, но застолье – любил, а выпив – крепко ревновал к тем, кто в этот момент перетянул на себя внимание окружающих, и уж тут мог обидеть ни за

что, ни про что (кто-то из воспоминателей обронил, что Борис-де никогда не обижал людей, – вот уж не так!). Однако вот главное: остро совестливый, он, обидев, сам и мучился, и готов был искренне повиниться в неправоте:

О, мне бы хоть горстку с души соскрести,
в чем совесть повинна.
Прости мне, Марлена, и Генчик, прости,
и Шмеркина Инна.

Речь здесь о близких друзьях – поэте Марлене Рахлиной, Генрихе Алтуняне, певице Фаине („Инне“) Шмеркиной. Но так же чувствовал он себя виноватым перед всем миром:

Спокойно днюет и ночует,
кто за собой вины не чует:
он свой своим в своем доме,
и не в чем каяться ему.

Он в хоровом негодованье
отверг и мысль о покаянье.
А я и в множестве один,
на мне одном сто тысяч вин.

На мне лежит со дня рожденья
проклятье богоотпаденья,
и что такое русский бунт,
и сколько стоит лиха фунт.

И тучи кровью моросили,
когда погигло пол-России
в братоубийственной войне, –
и эта кровь всегда на мне.

Зинаида Миркина по поводу таких „самообвинений“ Чичибабина пишет: „А это и есть истинно религиозное чувство жизни независимо от того, в какую церковь человек ходит и ходит ли он туда вообще“. Если это так, то я, атеист, за религию. Но неужели человеческая совесть от религии неотделима? Ведь, вроде бы, потому

она и совесть, что – человеческая. Борис, по-видимому, думал иначе. Для него Совесть и Бог были синонимами.

И он сам, и ряд ближайших к нему людей (жена, Г. Померанц, З. Миркина) отмечают важнейшую роль того поворота его жизни, который он в „Мыслях о Главном“ назвал „переоценкой ценностей“ и который относил к концу 60-х – началу 70-х гг. Мне бы хотелось дополнить эти сведения одним уточнением. Задолго до этого периода „комсомолец, взятый под замок“ и там, „под замком“, по свидетельству сокамерника, приводимому З. Миркиной, вдохновенно читавший эзкам с подмонок „КВЧ“ (культурно-воспитательной части) „Стихи о советском паспорте“, – стал присылать своей тогдашней возлюбленной огромные письма-исповеди сугубо религиозного содержания, написанные в стилистике, если не адекватной, то очень близкой к тем „Мыслям о Главном“, которые выйдут из-под его пера десятилетия спустя. И я, пубертатный подросток, совавший без спроса свой любознательный мальчишеский нос в бумаги моей сестры (адресата тех писем), с изумлением читал „Бог“, „Всевышний“, „Всемиловейший“ и т.д., написанные с прописной буквы, что в те времена казалось смешным и архаичным.

К слову, насколько можно судить, научная, да и хотя бы элементарная биография поэта до сих пор не созданы. В 60-е годы ходившие под цензурой редакторы и публикаторы „улучшили“ жизнеописание поэта, выкинув из него тюрьму и лагерь – из публикуемых биографических справок получалось, что он сам, добровольно, трудился на северном лесоповале, потом почему-то стал рабочим сцены... А один критик, узнав, что автор новой книги работает в таксопарке („бухгалтером“ – сказано не было!), написал в статье: „Едет *шофер* Чичибабин по городу...“ Мне уже довелось подробно рассказать в одной из своих работ, как сервильная советская редакция из тюремного стихотворения „Махорка“ сделала что-то вроде романтической „геолого-разведочной“ или „таежно-туристской“ песенки. Например, строку „А здесь, среди чахоточного быта...“ переделали в: „А здесь, где все заманчиво и ново...“; вместо: „...все искушенья жизни позабытой...“ – „...все ароматы быта городского...“; вместо: „...и заскучает в о л я обо мне...“ – „заскучает к т о - т о ...“, и т.д.

И вот вдруг, через много лет, в харьковском сборнике мемуаров о Чичибабине, читаю (в эссе харьковского поэта В. Яськова „Пря-

мая речь“) в связи с той же „Махоркой“: „табак, курение, дым как символы свободы перекликаются также и с хемингуэвской трубкой шестидесятников, с дымом костров геологов и путешественников. А отсюда – мостик ко всем этим тогдашним песенным шлягерам: „Дым костра создает уют...“ и т.п. А от них – к пародиям протрезвевших наследников: „Люди едут, люди едут за деньгами, за туманом едут только дураки“...“

Забавно: меня редакторское старание превратить „Махорку“ из произведения застеночной лирики в банальный туристский шлягер – оскорбило, а современный поэт-эссеист перекинул между этими жанрами „мостик“! Может быть, тут дело в том, что он – харьковчанин, а там „Махорка“ особенно известна в исполнении положившего ее на музыку одного из ближайших чичибабинских друзей, „барда“ Л. Пугачева? (О нем и в стихах Бориса – тепло и много). И все равно: сроднить продиктованную страданием песню, которая в ряду с пушкинским „Узником“, лермонтовским „Желаньем“... составляет единую традицию русской казематной поэзии, – сроднить и сравнить это с легковесной туристской романтикой мне кажется опрометчивым.

„Каким он был в жизни с женщинами?“

Книга статей и мемуаров открывается волнующими, очень скромно и точно написанными воспоминаниями вдовы поэта – *Лилии Карась-Чичибабиной*. Героиня множества шедевров его любовной лирики находит простые и добрые слова, чтобы достойно и искренно рассказать об их с Борисом романе, о счастливой совместной жизни, об особенностях замкнутого и вместе с тем щедрого характера покойного мужа. Душа лирического поэта обнажена „по определению“. Внимательный читатель поневоле становится свидетелем драматических перипетий в личной жизни стихотворца. Ведь прочитав такую лирическую трагедию, как стихотворение „Уходит в ночь мой траурный трамвай...“, только кретин не поймет, что речь в нем о семейной трагедии, о супружеском разрыве.

Вот в такой-то момент любовь, совсем как в „Мастере и Маргарите“, „выскочила из-под земли“ перед Лилей и Борисом – „и поразила их обоих“. Для души поэта, измученной стечением личных и общественных обстоятельств (то было время очередного закручивания идеологических и запретительских гаек, время после процесса Даниэля – Синявского, перед подавлением „Пражской вес-

ны“, время закрытия чичибабинской студии, начала новой травли его в газетах), эта встреча, этот союз сердец оказались спасительными. „Возьми все блага жизни прожитой“ – эта строка его стихотворения вовсе не пустой звук: оставив прежней жене только что полученную через союз писателей новую квартиру, подаренную родителями дачу с участком сада и даже махнув рукой на тщательно собранную библиотеку, явился он в дом новой избранницы, как она сама в другом месте рассказывает, „без ничего, в чем был“. А за плечами – незримый груз прошлой жизни: тюрьма, лагерь, репутация непредсказуемого крамольника, строптивного вольнодумца. И – совершенно несолидная, с житейской точки зрения, конторская служба в трамвайном ведомстве. И – близкая связь с уже посаженным Даниэлем, с отсидевшим первый раз и „готовящимся“ ко второму Алтуняном... И – слезка со стороны КГБ, а в перспективе – вызовы туда и „последние предупреждения“...

Но – если любишь!..

Слава Богу, потом ей досталась и радость: неожиданно Борис был востребован новой эпохой, вдруг стал всесоюзно, всероссийски, а затем и всемирно знаменит. Бремя славы... Не так-то легко и просто его вынести. Тем более, что трещина мира опять прошла через сердце поэта – а значит, и его подруги.

Уж я-то при любой системе
останусь лишний и чужой.

...А теперь – как „в интересах истины“, так и „в интересах правды“ – несколько лишь с виду неуместных наблюдений. Многие из авторов сборника, отдавая должное Лиле (как видит читатель, и мы это сделали!), вместе с тем, вольно или невольно, обеднили биографию сердца поэта. Лиля – его Беатриче. Лиля – его Лаура... Согласен! Но неподражаемый Феликс Кривин даже пошутил всерьез, что у Чичибабина много стихов о любви – „причем, как это ни странно, о любви к одному и тому же человеку“. Это, мягко говоря, неточность:

Зову тебя, не размыкая губ:
– Ау, Лаура!

Это из книжки 1963 года. Стало быть, Лаура тогда была уже, но... другая!

А вот это о ком (стихи 1962 года)?

Все деревья, все звезды мне с детства тебя обещали.
Я их сам не узнал. Я не думал, что это про то.
Полуночица, умница, черная пчелка печали,
не сердись на меня. Посмотри на меня с добротой.

Как чудесно и жутко стать сразу такими родными...

Жаль обрывать цитату – стихи великие! Но *эта* Лаура, *эта* Беатриче, как я подозреваю, нынче живет в Беэр-Шеве. Адресат же „Оды“, которую он когда-то называл „Одой женским коленям“, – ныне в Калифорнии. Красивые женщины! Когда-то даже спорили: которая из них краше? А поэт воспел – обеих. И еще многих. Как он сам написал в той же „Оде“:

Спасибо видящим очам!
Я в греховодниках не значусь,
но силу мне давала зрячесть,
и я о том не умолчал.

Признание в том, „как сердце влюбчиво“, без труда услышишь в лирике Чичибабина. Да, греховодником он не был, а влюбчив – был: ну прямо как... поэт! Однако близкие друзья об этой его черте не рассказали. Постеснялись?

В одном из „Сонетов любимой“ он, обращаясь к жене, писал: „Не спрашивай, что было до тебя“. Благородно написал, – по-мужски. И она, подчинившись этой просьбе, тоже поступила благородно, – по-женски. Но – представьте, что, учитывая женитьбу Пушкина, его друзья, а вслед за ними и пушкинисты, умалчивали бы об Анне Керн, Екатерине Воронцовой, об Олениной, – не говоря уже о какой-нибудь там „любезной калмычке“... Случайно я располагаю полным текстом написанных для сборника интереснейших записок, в которых рассказана давняя, начала 50-х годов, история романтических взаимоотношений Бориса с очень достойной женщиной. Цитируются посвященные ей стихи его – как всегда, замечательные, притом – и неопубликованные. Фрагмент этих воспоминаний

наний в книге есть, но вся любовная история безжалостно отсечена – вместе со стихами...

На мой взгляд, друзья Бориса перестарались в описании отрицательных последствий его брака с Матильдой Якубовской („Мотиком“). Да, финал их союза, их расставание были омрачены раздором. Но когда семейный раздор выглядел эстетично? Вру: Чичибабин и его сумел облагородить:

Страшна беда совместной суеты,
и в той беде ничто не помогло мне.
Я зло забыл. Прошу тебя: и ты
не помни.

Он забыл зло, а друзья – помнят. И один из них назвал ту, с кем Борис благородно разделял вину за случившееся, – ту, которая теперь превратилась в большую, одинокую старуху, – „взбесившейся женщиной“. А ведь в прежние времена именно ей были посвящены такие строки:

Нет, ты мне не жена. –
Я слово слаще знаю.
Ты вся, как тишина, –
Телесная, лесная.
Наш дом открыт для всех –
лишь захоти остаться,
в нем не смолкает смех
и не стихает счастье.

Это – о том самом доме, несусветном чердаке на Рымарской, 1, о котором так сочно рассказал Марк Богославский и который так подробно показал Эльдар Рязанов в своем телефильме о Чичибабине. Марк как раз и о Моте написал тепло, как о героине стихов, автор которых умел „вылуцживать из бытовой шелухи кристальную сущность женщины“. „Она и в самом деле стала в какой-то мере Творением рук поэта“. Добавлю: как Галатее из-под рук Пигмалиона! Да, рядом со своим Дон-Кихотом (кстати, один из любимейших Борисом образов в мировой литературе) она не осталась деревенской Дульсинеей. Многие в восхищении вспоминают, как интеллигентная Лиля подсказывала Борису на его вечерах

забытые им строчки. Но куда удивительнее, что это же в свое время делала и простушка Мотик... Она же, кстати, кормила и обихаживала всю ораву поэтов, набивавшихся порою в крошечную комнату, как в трамвай. Но один из них – Аркадий Филатов, не забывший назвать в числе посетителей ни Лешку Пугачева, ни Машу Лесникову, ни Марка, ни Марлену, да и себя справедливо упомянувший в „первой пятерке“ – о хозяйке дома даже не обмолвился. Нехорошо. Не по-чичибабински.

Юра Милославский, напротив, отметил, что „в честь Мотика был написан едва ли не лучший русский любовный романс уходящего XX столетия: „Когда весь жар, весь холод был изведен...“ Может быть. Только я эти стихи слышал гораздо раньше, чем Борис с Мотиком познакомились. Если даже я тут ошибаюсь, мне известно одно: поэт иногда „переадресовывал“ свои посвящения. И, право, ничего коварного здесь нет.

Тот же Милославский – один из первых, вместе с Верником, воспоминателей о Борисе, – еще в 70-е или 80-е годы запустил в „чичибабиану“ некий досадный ляпсус, который повторен и в рецензируемом сборнике. По его „версии“, Борис якобы влюбился в тюрьме „в молодую начальницу спецчасти“, „и она стала его первой женой. Они прожили лет пятнадцать“. Подстрочное примечание (видимо, от редакции?), – но особенно воспоминания сестры поэта – Лидии Гревизирской (Полушиной), ставят все на свои места: начальница (не знаю: действительно ли – спецчасти?!) на самом деле была, и ее звали – Клавдия Поздеева; Борис, действительно, вступил с нею в брак – но, по словам Лидии Алексеевны, фиктивный: для того, чтобы оформить Клаве прописку в Харькове, где надеялся помочь ей в лечении от эпилепсии. Он был ей благодарен за послабления, которые она делала для него в лагере, и жалел ее. Какое-то время Клавдия жила в семье Полушиных, позднее поселилась отдельно, а вскоре вернулась на родину. Борис же примерно в 1954 году соединил свою судьбу с сотрудницей по домоуправлению – паспортисткой Матильдой Якубовской.

Окидывая теперь единым взглядом всю жизнь поэта, можно сказать, что в ней – и не только в ее последнюю треть – Женщина играла огромную, судьбоносную роль. Так было в лагерные годы, когда (благодаря помощи его родителей) к нему трижды за его „сталинскую пятилетку“, несмотря на всю политическую, да и моральную компрометантность такого поступка, приезжала возлюб-

ленная. Правда, в последний из этих приездов она объявила ему, что полюбила другого. И все-таки...

Я рад, что мне тебя нельзя
назвать своею милой.
Я рад, что я тебя не взял
ни ласкою, ни силой.

Случись подобная беда,
давно б истлел в земле я.
Сильней поплакала б тогда –
забыла б веселее.

Забыла б голос мой и лик,
потом забыла б имя.
Потом сказала б: „Русский бык!“ –
и спутала с другими.

А так, через десятки лет,
в единственную полночь,
отыщешь где-нибудь мой след –
и по-иному вспомнишь.

Назло трагическим ночам
и шутовской морали,
я рад, что ты была ничья,
когда меня забрали.

(1948)

И еще:

...У меня светлеет темя,
голова твоя седа,
но такими же, но теми
мы остались навсегда.

...Если спросишь: есть ли злость? –
я отвечу: да, конечно! –
оттого что не пришлось
для тебя купить колечко.

...Ну, а как ты мне близка,
мы с тобою знаем сами.
Нас, наверное, тесали
из единого куска.

(Из стихотворения 1959 г.)

Их чистая – семьями! – дружба продолжалась всю жизнь – как и поэтическая переключка. Часть ее – известное стихотворение „Марленочка, не надо плакать...“, некоторые стихи до сих пор не опубликованы.

Далеко не мрачными были и его 13 лет жизни с Мотей. Кирилл Ковальджи, процитировав приведенный выше отрывок из посвященных ей стихов („Наш дом открыт для всех...“), справедливо отмечает, что эти строки „не потемнели от времени“.

Надо думать, поэту Чичибабину предстоит еще долгая жизнь в литературе. Лиля вспоминает слова А. Межирова, познакомившего впервые с его рукописью: „Поздравляю вас с бессмертием“, – сказал он Борису по телефону. Значит, сборник „В стихах и прозе“ не последний, и в будущем собрании сочинений Чичибабина найдет место давнее стихотворение из его книжки 60-х годов – о *благ*е даже и неразделенной любви:

Идя, обманутый, ко дну,
ты все отдашь и все простишь ей
хотя б за музыку одну
родившихся четверостиший.

„Каким он был в жизни с книгами?“

Об этом пишут многие из авторов мемуаров. Соученики (по школе – Ираида Челомбитко, по университету – Марлена Рахлина) отмечают его умение запоминать прочитанное с налету, но прочно. Многие друзья вспоминают его с книгой, за разговором о книге. Цитируют его сонет: „Мне ад везде. Мне рай – у книжных полок“. Книгами были уставлены и завалены все горизонтальные плоскости любого его жилья, книгами полны и его стихи:

1976

Безумный век идет ко всем чертям,
а я читаю Диккенса и Твена
и в дни всеобщей дикости и тлена
смеюсь, молюсь мальчишеским мечтам.

Или:

1988

Меняю призрак славы
всех премий и корон
на том Акутагавы
и море с трех сторон.

Или:

1951

Так живу, веселый путник,
простодушный ветеран,
и со мной по вечерам
говорят Толстой и Пушкин

на родном языке.

Замечательны его литературоведческие эссе, ответы на вопросы литературных анкет, интервью и заметки: о Пушкине, Мандельштаме, Цветаевой, Маяковском, Паустовском, Шарове. И – стихи: о множестве писателей и поэтов, как ушедших, так и живых. Это емкие по мысли, четкие по стилю, всегда оригинальные суждения, образные, звучные строки. Мемуаристы и литературоведы сборника (иногда в одном лице совмещены обе ипостаси) дружно отмечают его виртуозную звукопись, неотделимую от смысла стихов. Некоторые (Ю. Милославский, Бахыт Кенжеев) делают акцент на его классичности, традиционализме, но я душой с теми, кто видит в чичибабинском стихе поэтическое новаторство – звукопись в них совершенно невиданная, она прошивает насквозь всю строку, а порой и полностью все стихотворение. Притом – мотивированно, оправданно. „Звонкий дух земли родимой“ – русский язык – был для него естественной средой обитания. При этом примечательно, что два автора – В. Леонович и А. Верник – назвали в качестве конструктивного начала его поэтики... косноязычье (по Леоновичу – „могучее“, по Вернику – „высокое, раздирающее легкие“). „Косноязычие (пишет Верник) – вот основа чичибабинской гармонии“. И самое интересное, самое парадоксальное – то, что это – правда! Примечательно и то, что одним некоторые стихи поэта кажутся (например, о писателях и литературе) длинными, занудными, другие их же оценивают как шедевры. Тут не только разница взглядов и вкусов, но и та „неотстоялость“ критериев, которая

сопутствует обычно восприятию новаторского искусства. Да, длинноты, да, негладкость, а в целом – волшебство!

Для многих поклонников (и для противников) Чичибабина непонятна особенность книжек его 60-х годов: обилие безвкусных барабанно-патриотических стихов. Многие оправдывают это особенностями его тогдашних взглядов или – заблуждений. Уверяют, что он был органически неспособен притворяться, писать „на заказ“. Но вот что рассказала киевский поэт Евдокия Ольшанская: ее книжку „не пропускали“ – требовали добавить стихи „о БАМе, о КАМАЗе“, а у нее они – ну, не получались. Узнав об этом, Борис написал для нее на эту тему „три пристойных стихотворения“. „Для себя он давно уже отказался от таких „отступлений“, – пишет Евдокия (значит, раньше – не отказывался?!), – но, спасая книгу друга, совершил над собой насилие“. Нет, не был он святым, но улучшать его, приукрашивать – нет нужды и смысла: он и так был хорош!

Несколько лет Борис руководил одной из харьковских литстудий – в Израиле есть немало его бывших литстудийцев: например, Л. Каган, М. Копелиович, А. Верник, В. Серебро и другие. В сборнике – воспоминания некоторых из них (Верника, Копелиовича, живущего в США Милославского), но особенно хочется отметить заметки *Раисы Беляевой (Гуриной)*, дающие представление о Чичибабине-педагоге, литературной наставнике, и *Михаила Стасенко* – полные бытовых и психологических штрихов к характеру поэта.

„Всю жизнь ругаемый, прорабатываемый, читателям неизвестный, под страхом ареста“.

Мих. Стасенко рассказывает, что среди гостей бывали „скрытые стукачи“, но что „о последствиях лучше знает Лиля“. Лиля вспоминает, как Бориса вызывали в 1974 году на „беседу“ в КГБ по доносу о распространении самиздата. Марлена называет в качестве вероятной причины ареста его в 1946 году раннее стихотворение с рефреном „Мать моя посадница“ (переработанное им в начале 90-х и опубликованное в этой новой редакции под заголовком „Песенка на все времена“). Сестра Бориса Лида как на предполагаемых доносчиков и виновников ареста Бориса указывает на хорошо мне памятного его приятеля Жору Семенова, а также некоего Женю Сычева. Может быть сохранилось в архивах КГБ „дело“ на Б. Полушина (паспортная фамилия поэта)? Протоколы

исключения его в 1973 году из союза советских писателей и „обратного“ принятия в 1988 году – частично опубликованы в харьковской прессе проф. Л. Фризманом и его аспиранткой А. Ходос. В этих противоположных процедурах принимали участие одни и те же люди, которые с одинаковым энтузиазмом кричали в одном случае „Ату!“, а в другом – „Ура!“

Пока еще есть надежда, что кто-то напишет воспоминания о Борисе – в лагере (в сборнике названы два его солагерника: один – житель Москвы, другой – Иерусалима). Может быть, ударится в воспоминания и кто-то из „вертухаев“, их охранявших? Химера, должно быть, однако – чего не бывает?

Обе харьковских книги, посвященных творчеству и личности Чичибабина – это лишь начало. А первый блин, как известно, иногда с комочками. Оригинальная, на первый взгляд, особенность – однотипность оформления и названия – оборачивается некоторой двусмысленностью: ведь если стихи и прозу написал сам Чичибабин, то статьи и воспоминания – О нем... (Стилистически – что-то вроде вышедшей когда-то монографии: „Жизнь и ловля пресноводных рыб“: живут-то рыбы сами, а вот ловят их – люди...) Однотипное оформление создает иллюзию двухтомника, и иные книготорговцы продают обе книги только в паре. Но при том же количестве статей и воспоминаний есть занимающий треть его объема блок стихотворений – буквально все они *уже имеются* в томе „стихов и прозы“ – какой же это двухтомник?

Непростителен ляпсус в тексте перевода одной из юридических справок о реабилитации деда и двоюродного деда Б. Чичибабина: *„дело воплощением остановлено за недоведением обвинения“* (правильный перевод с украинского: „дело производством прекращено в связи с недоказанностью обвинения“). Неужели в современной Украине некому было отредактировать перевод? Непонятно, куда и как из „Хронологии жизни и творчества Бориса Чичибабина“ исчезло упоминание об одной из его книг – „Гармония“ (Харьков, 1965 год). Чичибабин писал в стихотворении: *„Четыре книжки вышли у меня“* (в 60-е годы), а упоминаются только три...

Все это, однако, не умаляет того огромного труда и души, которые вложены в работу составителями, редакторами, художником... Вместе с тем, нельзя не согласиться и с известным критиком *Львом Аннинским*, отметившим в рецензируемом сборнике статей и мемуаров: „...комментаторам (и критикам) еще предстоит добрая

работа: осознать и оценить наследие Бориса Чичибабина. Наследие, поразительное по жадности и многообразию реакций, по остроте вовлеченности в проблемы момента, по безоглядной искренности (и уязвимости) суждений, которыми он вторгнулся в самые „опасные“ политически зараженные (и загаженные), далекие от лирики сферы“.

В этой работе многое могли бы сделать друзья, поклонники и исследователи творчества поэта, живущие в нашей стране. Владимир Леонович, рассказав о некоей затерявшейся тетрадке стихов Бориса, которых нет ни в одной из книг, вопрошает: „Где та тетрадка? Уехала в Израиль? Но тогда ее издадут благодарные евреи...“ Говоря о благодарности, он имеет в виду многочисленные стихи Чичибабина о евреях, еврейской судьбе, Израиле – и против антисемитизма. Некоторые авторы воспоминаний и теперь полагают, что поэт „непримиримо относился к тем, кто эмигрировал из страны“ (Е. Ольшанская), однако это не совсем так. Разве не ему принадлежит послание отъезжавшим в Израиль друзьям: „Дай вам Бог с корней до крон без беды в отрыв собраться“, с недвусмысленным благословением из выбора: „уходящему – поклон“, „уходящему – любовь“ и т.д. „Но только б знать, что выбор сделан не сгоряча“. Именно за эти и подобные стихи, да еще – „Памяти А. Твардовского“ и „С Украиной в крови...“, его изгнали из писательского союза. Чувство благодарности за своих заступников, как считается, присуще нашему народу: в Израиле существует – и именно для „гоев“, неевреев, спасавших наших собратьев, – почетное звание „Праведник народов мира“.

Не по статусу, но по существу – Борис Алексеевич Чичибабин был подобен таким людям. Он возвышал свой одинокий голос в защиту всех угнетенных, терзаемых, преследуемых. И мы перед ним всегда в долгу.

БУЛГАКОВЕДЫ И БУЛГАКОЕДЫ

Текстолог и автор нескольких литературоведческих исследований Лидия Яновская издала в Израиле новую и весьма интересную книжку под названием „Записки о Михаиле Булгакове“. Впрочем, книга эта содержит материалы, посвященные не только жизни и творчеству этого писателя, но и перипетиям булгаковедения.

Следует признать, что жанр себя оправдывает. Если даже физики признали, что объект может быть адекватно описан только в том случае, если в описание включен и сам наблюдатель, то тем более такое положение неизбежно в гуманитарных науках.

А за булгаковедением Лидия Яновская наблюдает давно и пристально. Ведь она начала знакомиться с основными сочинениями Булгакова еще в рукописях в доме его вдовы Елены Сергеевны в начале 60-х годов, то есть в ту пору, когда никакого „булгаковедения“ и в помине не было (впервые роман „Мастер и Маргарита“ был опубликован в журнале „Москва“ в 1966-67 годах). Более того, в ту самую пору Яновская фактически как раз и положила начало этой науке, приступив к написанию книги, посвященной Булгакову.

Однако после смерти Елены Сергеевны (1970) булгаковский архив полностью перешел в собственность государства, а доступ к нему для Яновской оказался закрыт. Она пишет: „Архив Булгакова уходил под наблюдение КГБ. Так случилось, что Булгаков не был арестован при жизни. Теперь, с начала 70-х, отдел рукописей Библиотеки им. Ленина становится местом посмертного ареста его рукописей“. Более того, Яновская оказалась лишенной допуска даже к собственным письмам к жене писателя, которые между тем безо всяких ссылок бесцеремонно использовались исследователями, допущенными к изучению булгаковского наследия.

Возможность изучать архив писателя была предоставлена Яновской лишь в 1988 году. Но когда она обнаружила в нем пропажи (оказывается, из архива исчезли ценнейшие материалы, в частности, последние рукописи „Мастера и Маргариты“ и последние

корректиры „Белой гвардии“) и обратилась по этому поводу в прокуратуру, то снова лишилась допуска к архиву. Но тем более радует, что у Яновской все же находится достаточно интересного и свежего материала, касающегося не только „булгаковедения“, но и самого Булгакова и его творчества.

Так, Яновская рассказывает интересные подробности о булгаковской библиотеке, в частности, о том, что в этой библиотеке имелся ТАНАХ (т.е. ивритский оригинал Библии). Она пишет о малоизвестных, но интересных людях из ближайшего окружения Булгакова. В этой книге читатель найдет и хорошо аргументированную гипотезу генеалогического древа Маргариты и интереснейшее исследование причин и характера существенных разночтений между журнальным вариантом „Мастера и Маргариты“ и последующими изданиями романа.

Общая оценка булгаковского творчества эмоционально, но сжато сформулирована в письме Яновской в „Литературную газету“: „А может быть, не со мной сражается Литгазета, а издавна, традиционно, еще со времен Чаковского, - с Михаилом Булгаковым? Булгаков в интерпретации Чудаковой - изуродованный, обуженный, почему-то заискивающий перед Сталиным, жалкий шовинист, какой-то Булгаков-чудаков - да. А Булгаков подлинный - свободный, прекрасный, счастливый, несмотря ни на что, Булгаков - человек Ренессанса, чудом попавший в нашу эпоху, - нет“.

Это видение булгаковского образа как вызывающего восхищение „человека Ренессанса“ у многих может встретить живой отклик. Однако, учитывая, что в адрес Булгакова действительно прозвучало немало обвинений, в частности, в „шовинизме“ и в „заискивании перед Сталиным“, то замалчивание этих тем самой Яновской может вызвать определенное недоверие.

Здесь следует сделать пояснение. Единственным прямым свидетельством антисемитских настроений Булгакова служит пять-шесть сентенций из его дневника 20-х годов, тогда же изъятого при обыске и извлеченного из архива КГБ в 1990-м. Евреи здесь упоминаются непрямо и связываются с большевистским режимом. Одновременно можно согласиться с возможностью антисемитского подтекста в некоторых сочинениях той поры („Белая гвардия“, „Дьяволиада“).

В более поздний период никаких свидетельств неприязненного отношения Булгакова к евреям не имеется. Однако в последнее

время появились исследования, пытающиеся доказать, что писатель не только всю жизнь оставался убежденным антисемитом, но что антисемитизм был скрытой пружиной его творчества, и что во всех своих произведениях, в частности в „Мастере и Маргарите“, он заимствовал идеи и образы из бульварной антисемитской литературы. Основная работа в данной области принадлежит М. Золотосову: „Мастер и Маргарита“ как путеводитель по субкультуре русского антисемитизма“.

По существу книга Золотосова представляет собой обзор оккультно-антисемитских сочинений конца 19-го – начала 20-го веков, которые автор стремится представить в качестве контекста „Мастера и Маргариты“. Все его сопоставления носят отвлеченный и бездоказательный характер. Так, например, по мнению Золотосова, имя Воланд созвучно имени Дан, а оказывается Нилус верил, что антихрист должен прийти из колена Дана. Вообще основной пункт обвинения строится на фигуре Воланда: „В контексте субкультуры русского антисемитизма возник и образ Воланда“. Именно „мировой жидовский заговор“ стоит за тем, что Воланд и его спутники держат в руках судьбы всего мира, всемогущи, всезнающи, всепроникающи (вспомним, например, эпизод с глобусом Воланда).

Отсутствие хоть каких-либо еврейских атрибутов в образе Воланда не смущает исследователя. Это обстоятельство разрешается им с помощью следующей спекуляции: „У Булгакова зло, а заодно и „еврейство“ (как форма зла), переносятся с еврея Иешуа на Воланда, Иешуа делается демонстративно „добрым“ и десимитизируется, а Воланд из „семита“ вскоре становится „арийцем“.

(При этом остается неясным, каким образом этот „ариец“ все же может соответствовать „протообразу еврея-сатаниста“.)

Завершается исследование следующим сообщением: „Одним из прототипов Мессира (Воланда) является созданный в недрах антисемитской литературы образ демонизированного еврея, превратившегося во всемирного дьявола. Под пером Булгакова он в конце концов замечательно укрупняется – до практически равновеликости и равносильности с Богом“.

Не вызывает сомнения, что те простолюдны – присяжные, которые участвовали в деле Бейлиса, не осудили бы Булгакова в антисемитизме на основании золотосовских находок. Но как ни странно, нашлось немало профессиональных гуманитариев, кото-

рые прониклись к этому и ему подобным исследованиям глубоким доверием.

Можно еще понять, когда образ Булгакова-шовиниста пестуется русскими почвенниками, но зачем понадобилось городить всю эту напраслину евреям (в частности, Золотоносову)? Им-то для чего так страстно привлекать на сторону антисемитов авторитет Булгакова?

В своей книге Яновская приводит свой нелицеприятный разговор с Золотоносовым, а в отношении „черносотенного окружения“ Булгакова, на которое так часто принято намекать, рассказывает о близком друге семьи Булгаковых, их соседе, профессоре Киевской духовной академии священнике Александре Глаголеве. Он был привлечен в качестве эксперта на дело Бейлиса. Однако выступил он в пользу обвиняемого: „...на основании известных науке источников еврейского вероучения“ он отказался „констатировать употребление евреями христианской крови“. Кроме того, Яновская указывает, что в 20-х годах Александр Глаголев обучал ивриту отправлявшихся в Израиль сионистов, а его сын, тоже священник, во время войны скрывал у себя в доме евреев. Его имя можно прочитать на мемориальной доске в Яд ва-Шеме.

Яновская не ставит перед собой специальной цели доказывать, что Булгаков не был антисемитом, но тем не менее многие оговорки рассыпаны по всей книге. Пожалуй, самой интересной в этом отношении публикацией является открытие, связанное с происхождением третьей жены Булгакова, Елены Сергеевны, девичья фамилия которой была Ниренберг. До сих пор ни у кого не вызывало сомнений, что отец ее немец, это утверждается во всех исследованиях, посвященных биографии Елены Сергеевны - прообраза и „исполнительницы“ „светлой королевы Марго“, „совершившей с Булгаковым его последний полет“.

Лидия Яновская отыскивала документы, однозначно показывающие, что отец Елены Сергеевны был принявший лютеранство еврей, Шмульт-Янкель Ниренберг. Доказывает она и то, что это обстоятельство должно было быть хорошо известно Михаилу Булгакову.

Приобрести новую книгу Лидии Яновской, насколько мне известно, можно в магазине Шемы Принц, что в Тель-Авиве.

ЖИТИЕ СТИХА

В начале тысяча девятьсот девяносто первого года в провинциальном советском городе Одессе вышел в свет коллективный сборник поэзии „Вольный город“, что для великой русской литературы стало событием вполне местечкового масштаба. Впрочем, отметим следующий, в том числе и литературный, факт - масштаб любого события постоянно изменяется во времени, стремясь либо, извините, вообще к нулю, либо к бесконечности, причем вектор тенденции к росту или падению, в свою очередь, очень даже способен резко изменить направление вплоть до противоположного, что в целом позволяет рассматривать всемирно-исторический процесс, как некую биржу, постоянно оценивающую акции событий уже минувших. Все это говорится к тому, что дар снобизма часто оказывается в оппозиции к дару пророческому, т.е. никогда не следует торопиться произнести: „Ну подумаешь, у каких-то там несчастных Буонапартов или Эйнштейнов, или Горбачевых родился очередной ребенок, а в какой-то зачуханной Иудее или, допустим, Чечне казнили еще трех воров, один из которых, вроде бы, политический“. Спешу добавить, что я отнюдь не являюсь убежденным противником оппозиций как таковых, и поэтому объявлять меня врагом снобизма было бы преждевременно, тем более, что с точки зрения отдельных пророков, я и сам порядочный (не в смысле, конечно, выдающейся личной порядочности) сноб.

Стихотворение - существо живое, это еще теоретики школы структурного анализа научно доказали. К данной школе у меня особых претензий нет. Хочу лишь заметить, что в структурном отношении произведения самых заурядных дарований ничуть не менее любопытны, чем произведения дарований самых выдающихся. Иначе, собственно, и быть не может - структура, она структура и есть, правила и основные теории стихосложения, как, впрочем, правила любой игры или деятельности вообще, для всех одинаковы, а от ответа на вопрос, почему при этом один играет хуже, а другой лучше, в свое время уклонился даже сам О. Бендер в своей знаменитой шахматной лекции. Итак, примем за данность: научиться играть можно кого угодно и во что угодно, а вот научить

играть гениально нельзя никого. Что же до сходства бытия художественного произведения в культуре с функционированием живого объекта в природе, то добавим лишь следующее: чтобы жить, объект должен быть, как минимум, живорожденным...

В этих заметках речь пойдет о стихотворениях Павла Лукаша, поэта дебютировавшего в упомянутом несколько выше сборнике. При этом, как читатель несомненно уже догадался, автор заметок не склонен особенно сосредотачиваться на структуре (анатомии) стиха, но явно готов отдать предпочтение разбору его психологических аспектов, тем более, что психоанализа поэтического текста, как вполне сложившейся науки, пока не существует. С психов и начнем:

„За стенкой со вчера
разгул соседа-психа,
полночи под окном
кошачье рандеву,

час или полтора
под утро будет тихо:
не будут строить дом,
не будут стричь траву.“

Перед вами первая строфа стихотворения, которая графически выдает себя за две, и правильно делает, потому что обе полустрофы четко семантически разграничены: первая (условно говоря) – шум, вторая – тишина. Ну, а дальше-то что?

„и погрузишься в сон,
который без видений,
его не сгубит свет,

и шум не проберет“... – сон без видений, такой долгожданный, особенно после разгула соседа-психа и продолжительных кошачьих рандеву, как будто всем хорош, и как-то не особенно замечаешь, что „Свет“ в этой строфе явлен не в традиционном своем обличье (да будет свет?) антогониста всякой тьмы и нечисти, но в ипостаси губителя. Победителей драконов губителями не называют. Разве что сами драконы, еще не загубленные, могли бы так обозвать своих потенциальных победителей. Хорош тогда сон. Кстати, что с ним? Ведь третья полустрофа явно обещает развязку в следующей:

„не потому ли он
так сходится с идеей,
что ничего там нет,
а не наоборот“. - сразу даже и не спохватишь-

ся, что здоровый сон нормального гражданина оказывается наперекор кошмарнее любых мыслимых кошмаров (которые все-таки рассеиваются, которых, рано или поздно, не свет сгубит, так шум проберет), ибо, ни много ни мало, не оставляет надежд на жизнь вечную. Это вам не философские труды, которые могут оказаться не окончательно установленной истиной, а то и вовсе заблуждением. Это, повторяем, здоровый сон. Без видений.

Данное стихотворение характерно для поэтики Павла Лукаша во многих отношениях. В сюжетном плане - это внешне непритязательная завязка, построенная, как правило, на житейски-обыденном материале и далее совершенно естественный, а потому неуловимый, переход к проблематике, которую можно назвать философской, можно теологической, описываемой без видимых стилистических изменений на уровнях от ритмического до лексического и синтаксического. Возникающий при этом эстетический эффект как бы объективно (а может быть и сверхобъективно, а, может быть, просто объективно без всяких „как бы“ и „сверх“) свидетельствует о том, что либо быт наш явление трансцендентное, либо трансцендентное бытие - явление вполне бытовое.

Я склонен рассматривать искусство вообще, как непосредственное свидетельство о Сверхбытии. Прошу обратить внимание на слово „непосредственное“, ибо опосредованным свидетельством такого рода является религия - сфера, связанная с искусством не более, чем с, допустим, физикой или спортом. Повторяю: связанная, но не более, чем... Объем новизны эстетической информации определяет ценность произведений искусства, о лучших из которых мы говорим, что они бесценны. Что же касается единицы измерения новизны эстетической информации и прибора, способного к точным измерениям в данной области, то с этим, к счастью, дело обстоит так же, как во времена, когда попросту говорили, что произведение искусства не должно быть банальным. Видимо, ничего более совершенного для вынесения приговоров (перманентно не окончательных и всегда подлежащих обжалованию) относительно художественной ценности текста, чем читательская душа, наука нам никогда не предложит. И это мы понимаем. О высоте наших душ часто судят по тому, какие книги мы пред-

почитаем читать. Я, например, очень хорошо помню, как на вопрос: „Кто ваш любимый поэт?“ министр обороны СССР, не моргнув глазом, отвечал: „Пушкин-Лермонтов“. Не сомневаюсь, что Председатель КГБ СССР был вполне удовлетворен подобным выбором.

Представляете, если бы министр ответил: Иосиф „Бродский“. Это бы означало, что либо маршал сошел с ума, либо в стране произошел государственный переворот. Зато в новые исторические времена лояльный вельможа в здравом рассудке может, и даже должен, любить Бродского, хоть бы его тошнило вообще от любых стихов. Что за мистика такая? Мистика и есть. Поэтому тем, кто сегодня собирается сдавать психотест, я категорически не рекомендую на вопрос: „Кто ваш любимый поэт?“ отвечать: „Павел Лукаш“. Начальству это не понравится, а у психологов вызовет подозрение.

Но уже сегодня не помешает запомнить это имя и повнимательней присмотреться к этим стихам:

„Что ни день, то на нервах,
что ни ночь - непокой
Надо выжить, во-первых,
в обстановке такой.

Несмотря на зевоту
и ничтожный тариф,
уходить на работу,
что уже во-вторых.

И, наверное, в-третьих,
на кого ни глазей,
повстречаешь не этих -
не ближайших друзей.

И, в-четвертых, и, в-пятых,
и, конечно, в-шестых,
и в трех точках, распятых
между двух запятых,

в полуночную млечность,
если вдруг не до сна -
то ли плюс бесконечность,
то ли минус она“. -

интересная парадигма вырисовывается...

Эмилия Обухова

«ВРЕМЯ! Я ТЕБЯ МИНУЮ»

(О книге Л.Я. Лившица „Вопреки времени“,
Харьков-Иерусалим, 1999 г.)

Этот стих Марины Цветаевой в заголовке лучше всех других названий и цитат передает суть происшедшего – появление книги литературоведческих и критических работ Льва Лившица. И не в том даже дело, что вещи, написанные более тридцати лет назад, только сейчас вышли отдельной книгой. Конечно, это великолепный памятник. Но ностальгическая тема давно надоела. Все, без исключения книги, выходящие здесь на русском языке, заставляют нас, как убийц, вновь и вновь возвращаться к месту своего преступления – туда, где мы разрушили, покинули, предали, где остались наши нищие и одинокие друзья и подруги и зарастают осевшие дорогие могилы. Мы втянуты в роковое круженье, и никто не в силах разорвать эту зависимость. От нее не защищен никто – просмотрите хоть номера этого журнала за последний год. И все же книга Льва Лившица „Вопреки времени“ имеет кроме ностальгических причин другие, не менее серьезные. Ведь странно, правда, что книга, которая создавалась несколько десятилетий назад, не вовлекает в рефлексию, тоску или переоценку периодов жизни в пользу прошлого. Это новая-старая книга – отнюдь не дань Молоху, уничтожающему наше сегодня. Нет, она вопреки – вопреки времени, вопреки общему течению. И никто из нас, задумывавших, издававших, читавших ее, не обернется соляным столбом, но тот, кто хоть чуть-чуть прикоснулся к ней, воспринимает осуществление этого издания как славное дело именно наших дней.

Впервые опубликованные работы Льва Яковлевича представля-

ет не только безусловную научную и историческую ценность, но и являются как бы новым воплощением личности и судьбы этого яркого, необыкновенного человека. Он прожил короткую жизнь, неполных 44 года, но война, любовь, семья, лагерь, дружба, счастливое отцовство – все это вместила его прекрасная и трагическая судьба.

Два года назад в Харькове по замыслу и под редакцией проф. Бориса Милявского вышла книжка воспоминаний „О Леве Лившице“. О ней много писали, здесь и там. В журнале „22“ № 106 была опубликована статья об этом издании и о его истории. На публикации неожиданно откликнулись разные люди, даже те, кто не знал ученого. И вот теперь, через два года в Иерусалиме вышла эта, новая книга – сборник его работ. Не могу не сказать несколько слов о вечере презентации сборника „Вопреки времени“ в Иерусалиме, потому что там произошло нечто удивительное: был переполненный зал и в какой-то момент подготовленные выступления были прерваны неожиданно пожелавшими выступить людьми, случайно узнавшими о вечере по объявлению в газете. Это казалось чудом, ведь столько лет прошло, а тут встает то школьный товарищ, то бывший с Лившицем на фронте военный корреспондент, то его последняя дипломница. Сколько же людей его знали и любили! И через столько лет.

Определить жанр книги „Вопреки времени“, конечно, невозможно. Хотя она и оставляет ощущение целого, все же это сборник, причем сборник работ из разных областей деятельности Льва Яковлевича: литературоведение, текстология, театральная критика – и поэтому лучше говорить о каждой части отдельно. Мало того, в книге присутствуют несколько временных пластов, но, кстати, ощущение прошлого остается только после чтения раздела воспоминаний и от старых фотографий, а научные и критические работы Лившица будто не связаны с определенным временем, они на удивление современны.

Помните, в старом советском фильме Э. Рязанова „Гараж“ героиня-филолог представляется: „Я занимаюсь сатирой“. „Интересно, – говорит молодой человек, – вы занимаетесь тем, чего не существует“.

В состав книги вошли две большие работы Лившица о драмах М. Салтыкова-Щедрина и И. Бабеля – его привлекала сатира.

Сатирическую пьесу М.Е. Салтыкова-Щедрина „Тени“ Лев Лившиц взял темой для своей диссертации.

Забытая и, вообще, малоизвестная, с небогатой сценической историей до революции и после нее, эта пьеса и сама уже становилась тенью. Симптоматично, что после смерти Сталина она ненадолго появляется на театре, потом ее жизнь на сцене прерывается вновь. Странная пьеса, она в исследовании Льва Яковлевича представляется, к несчастью, именно произведением на все русские и не только русские времена. Пьесу, вскрывающую безнравственность и продажность людей, разоблачающую суть власти и логику иерархии чинов, оттого и забытую, что всем властям опасную - именно эту пьесу Л. Лившиц и избрал предметом своего научного исследования. Задачей ученого было привлечь внимание к этой заброшенной вещи, воскресить „Тени“ и представить современникам. Основной мотив в „Тенях“ - лживость либеральных реформ в России 60-х в 19 веке, и он акцентирован ученым. Тут же и анализ психологических изменений в героях: трусость, приспособленчество и духовный разврат. Узнаете? Воскрешенные „Тени“ оборачиваются критикой полусвобод „оттепели“, они должны были ассоциироваться с ощущением советской удавки, которую на время чуть ослабили - это очевидно.

Говорили, что Лев Яковлевич не был бунтарем. Еще бы, он ведь только что вернулся из лагеря! Тем ясней и невероятней читалась его очевидно бунтарская наука, бунтарская, как и пьеса Щедрина. Что это, как не бунтарство? Это балансирование на канате и на виду у всех? Вот лишь одна, довольно невинная цитата из диссертации: „Как известно либералы 60-х годов любили раздувать свои споры с реакционерами вокруг реформы, вокруг критики всяких частных недостатков в государственном аппарате“. Если учесть, что совпадают даже временные отрезки - 60-е годы, и либералы, и критика, то кажется Л. Лившиц не только исследовал опальную сатиру, но временами сам писал ее - в научном тексте! Работа о „Тенях“ Щедрина - диссертация, казалось бы, жанр заведомо скучный, но (почитайте этот текст !) - яркий, пульсирующий, богатый находками, почти детективными текстологическими исследованиями и психологическими наблюдениями, современными ему и нам.

Так соблазнительно было ему обыграть название, но Лев Яковлевич устоял. Сами, мол, смотрите, кто здесь тени, отчего они -

тени. Да это же „мертвые души“, мертвецы, окружающие нас, владеющие нашим временем и нас увлекающие в общество мертвых, серых теней.

Бывают литературоведение тяжелое, как будто исчерпывающее тему, когда каждый вывод, каждое определение ощущаются последней каменной точкой.

Лев Лившиц написал о „Тенях“ Щедрина так, что хочется продолжать думать, говорить об этом. Каждая страница его работы рождает мысли, сопоставления и новые идеи. Его исследование „Теней“ может стать теперь, когда книга издана, образцом научной методологии для молодых ученых. И неслучайно вспомнился „Гараж“. Кажется, что исследование Льва Яковлевича заставляет задуматься о возможности киносценария по „Теням“ – название замечательное и вечный сюжет.

Что касается бунтарства Левы Лившица, то это, судя по его работам, – то, что он ценил превыше всего. Бунтарство – это вдруг открывшиеся глаза, это нежелание мириться с рутинной, способность к поступку и жажда нового. Этого он искал и в героях Бабеля, и в героях Салтыкова-Щедрина.

Опубликованные в книге отрывки из исследований Льва Яковлевича об Исааке Бабеле удивительно драматургичны, это литературоведение с режиссерским, психологическим направлением, как бы с ремарками для актеров. В работах о „Закате“ и „Конармии“ ощущается теперь, после стольких лет, прошедших с рождения „бабелеведения“, очевидная близость оценок, взглядов и представлений ученого и автора исследуемых произведений. Кажется, они смогли бы подружиться, могли бы вместе над всем этим хохотать. Лившиц удивительно тонко воспринимает рукописи Бабеля, буквально переживает его черновики. Он наблюдает, как Бабель „очищает“ своего Менделя Крика от грязных местечковых черт, превращая его в бунтаря в высоком лившицевском смысле. Только бунтарство – жизнь, свет, свобода. Семья Менделя была для него тем „темным царством“, которое ему, в отличие от Катерины в „Грозе“, по силам было разрушить. Эта тема была спасительным ворованным воздухом и для Бабеля, и для Лившица.

Чтобы яснее представить, что сделано Л. Лившицем для изучения и возможности публикаций работ Бабеля, приведу в качестве иллюстрации отрывок из книги „Вопреки времени“ – свидетельство дочери Льва Яковлевича – Тани Лившиц-Азаз: „Последние по хро-

нологии работы отца относятся к 60-м годам, это почти 10 лет титанического, подвижнического труда. Они были посвящены собиранию бабелевского архива и проталкиванию в печать произведений Бабеля. Меня часто спрашивают, что произошло с архивом после отцовской смерти. Хочу объяснить: в архиве не осталось неопубликованных работ Бабеля. Там были собраны ранние работы Бабеля, такие, как цикл его очерков в кавказской газете „Заря Востока“, его выступления, критика о нем 20-х, 30-х годов. Большая подборка бабелевских работ и выдержки из его писем были опубликованы в журнале „Знамя“ в 1964 году. Этот архив был архивом ученого, готовившегося писать книгу о Бабеле. Позволю себе упомянуть здесь об истории, связанной с частью этого архива. Отец задумал издать сборник воспоминаний о Бабеле. Уговорил вдову писателя, А.Н. Пирожкову, отнесшуюся тогда, в 1962-63 годах, к этой идее как к абсолютно нереальной, засесть за мемуары. Он виделся с ней несколько раз в год, ездил к ней работать с бабелевским „сундучком“. Отец собрал толстую папку воспоминаний, написанных на машинке и от руки. На папке было название: „Воспоминания о Бабеле“. После смерти отца я занялась этим архивом, перепечатала рукописные воспоминания, связалась с рядом авторов, числившихся в отцовом списке. Подготовленный к публикации материал я отвезла летом 1965 года в Москву к Пирожковой. Какими же были наша обида и недоумение, потрясение, когда через семь лет, в 1972 году вышел задуманный отцом сборник под редакцией А.Н. Пирожковой и Г.Н. Мунблита и нигде, ни словом не было упомянуто в этом сборнике об усилиях и участии отца“.

Вероятно, что случившееся можно объяснить и не чьими-то личными коварством и нечистоплотностью. Скорей вдова писателя, А.Н. Пирожкова, просто испугалась самого имени Льва Лившица, а ведь ей, конечно, хотелось, чтобы сборник, наконец, вышел и чтобы этому не смогло ничего помешать. Скорей забывают о человеке, но долго помнят о его бунтарском, опасном реноме.

Раздел избранных критических статей Л. Лившица о театре органично входит в состав книги „Вопреки времени“. Театральные рецензии 40-х годов, из-за которых Лев Яковлевич был определен в космополиты, именно они и начинали его бунтарское литературоведение. Они только более откровенны, в каком-то смысле, даже чуть наивней, чем послелагерные работы. Бунтарство в этих

работах становится критерием всего – режиссуры, работы актера и выбора пьесы.

В рецензии на постановку „Грозы“ Островского в Харьковском театре им. Шевченко он выносит на первый план существенный недостаток спектакля: снижение в нем социального плана, недостаток протеста во имя свободы. В чем же тут, собственно говоря, бунтарство? Драма „Гроза“ – из школьных учебников, о социальном протесте в ней обязан был говорить каждый учитель литературы. Все это так, но вот критик заметил, что на сцене бунт против „темного царства“ как бы убрали на задний план, и пьесу свели к трагедии любви. Умеющий читать внимательно поймет, что Лившиц таким образом указывал на страх властей и театральной цензуры перед возможностью явной, очевидной метафоры, которая могла бы стать политической пружиной спектакля. „Темное царство“, Дикой – это же так похоже на сталинское время. Лившиц писал: что же, „вся беда Катерины, что „молоду ее замуж-то отдали и погулять ей в девках не пришлось?.. И не случайно в спектакле опущена первая сцена третьего акта. Не в ней ли наиболее ярко обрисовано „темное царство“ Диких и Кабаних? И если нам жаль, что благодаря купюре мы не смогли увидеть во всей широте И. Марьяненко – Дикого, то для спектакля это сокращение не так уж важно. Раз трагедия страсти, а не протеста во имя свободы, то не столь уж важен и контраст между „темным царством“ и „лучом света“.

В спектакле, в актерской роли он ценил превыше всего бунтарский дух и немедленно разоблачил подмену. Ведь бунт Катерины – против жизни „за высокими заборами, за огромными замками“, а не из-за несостоявшейся любви. Та же мысль в статье о постановке пьесы „Егор Булычов и другие“. Нет, Лев Лившиц не был диссидентом, он просто оставался самим собой. Теперь понятно, что этого было достаточно, и арест был неминуем.

Две книги о Лившице были многолетней мечтой и неизбывным долгом Бориса Львовича Милявского – друга, соавтора и единомышленника Льва Яковлевича. Когда Лившица арестовали, Милявский тоже ждал ареста, но успел уехать в Душанбе. Здесь он много лет работал в университете, о нем знают как о прекрасном лекторе, ученом, авторе книг о поэзии. Он и теперь молодой, с чудесным живым голосом и нежными глазами. Он не состарился, дата Левиной смерти удержала его за чертой их общей молодости.

Эти две появившиеся книги будто воскресили интонации, мысли, ритм души, творчество Левы Лившица. Все эти годы Б. Милаевский ждал часа, чтобы вернуть жизнь трудам Льва Яковлевича, его образу. Это случилось, и опубликованные работы как-то легко вошли в современность, достроили, улучшили, осветили неяркий день. Что же до надоевшей всем ностальгической темы, так ведь и она, по сути, тема бунтарская.

**В последнее время журнал поддержали
пожертвованиями следующие лица:**

Слободская З. (Хайфа) – 50 шек.,
Гредескул С. (Офаким) – 80 шек.,
Трещан О. (Тель-Авив) – 100 шек.,
Осмоловский Л. (Хайфа) – 30 шек.,
Ботинко Х. (Реховот) – 380 шек.,
д-р Хнох П. (К.-Тивон) – 30 шек.,
Бар-Менахем Л. (Иерусалим) – 50 шек.,
Злотник Г. (Мицпе Тель-Аль) – 100 шек.,
д-р Златкис М. (Цфат) – 30 шек.,
Лорбер Г. (Хедера) – 80 шек.,
Наткович Л. (Лод) – 20 шек.,
Рутштейн Д. (Тель-Авив) – 30 шек.,
Кербель А. (Хайфа) – 60 шек.,
д-р Котлярский Р. (Маале-Адумим) – 100 шек.

*Редколлегия выражает глубокую благодарность
преданным друзьям журнала.*

Нина Воронель. Писатель и драматург, см. №№ 97-106. Живет в Т.-Авиве.

Гавриил Левинзон. Писатель, живет в Нью-Йорке.

Александр Кустарев. Писатель и социолог, см. №№ 104, 109. Живет в Лондоне.

Михаил Генделев. Поэт и публицист, см. №№ 67, 71, 102. Живет в Иерусалиме.

Хамуталь Бар-Йосеф. Ивритская поэтесса, см. № 86. Живет в Иерусалиме.

Денис Соболев. Филолог и эссеист, см. №№ 106, 108. Живет в Иерусалиме.

Борис Голлер. Прозаик и драматург, см. № 91. Живет в Кирьят-Арба.

Олег Савельзон. Социолог и математик. Живет в Иерусалиме.

Леонид Штильман. Профессор инженерного факультета Т.-А. Ун-та.

Бен-Барух. Философ и эссеист, см. №№ 90, 91, 107. Живет в Иерусалиме.

Эдуард Бормашенко. Физик и публицист, см. №№ 106, 108. Живет в Ариэле.

Роза Ляст. Историк и публицист, см. №№ 83, 89, 98. Живет в Бней-Браке.

Марат Гринберг. Студент Колумбийского Университета. Живет в Миннесоте.

Виктор Голков. Поэт, см. № 95. Живет в Тель-Авиве.

Владимир Ханан. Поэт и публицист. Живет в Иерусалиме.

Михаил Копелиович. Литературный критик, см. № 109. Живет в Иерусалиме.

Сергей Каледин. Российский писатель. Живет в Москве.

Михаил Вассерман. Писатель и переводчик, см. № 91. Живет в США.

Калман Кацнельсон. Ивритский публицист. Живет в Т.-А. с 1923 г.

Константин Фрумкин. Философ и журналист, см. № 108. Живет в Хайфе.

Марэн Фрейденберг. Историк, см. №№ 90-105, 107. Живет в Тель-Авиве.

Рита Бальмина. Поэт и дизайнер, см. № 109. Живет в Тель-Авиве.

Игорь Ачильдиев. Философ и журналист. Живет в Потсдаме (Германия).

Эдуард Братута. Профессор Политехнического Университета в Харькове.

Феликс Рахлин. Журналист и писатель, см. №№ 104, 106. Живет в Афуле.

Арье Барац. Писатель и публицист, см. № 103. Живет на поселении.

Эмилия Обухова. Филолог, см. №№ 101, 103, 109. Живет в Нетаниш.

Мордехай Зарецкий. Писатель, см. № 105. Живет в Реховоте.

Главный редактор — Александр ВОРОНЕЛЬ

Редакционная коллегия:

Н. ВОРОНЕЛЬ, Н. ГУТИНА, А. ДОБРОВИЧ, А. ДОНДЕ,
Н. ДРАЧИНСКАЯ, Э. КУЗНЕЦОВ, Д. СОБОЛЕВ
М. ХЕЙФЕЦ, Д. ЦИФРИНОВИЧ, И. ЧАПЛИНА,
Н. БАСОВСКИЙ, В. КРАСНОГОРОВ, Э. БОРМАШЕНКО

Заведующая редакцией — Мирьям БАР-ОР
Компьютерная обработка — Нина РАДАЙ
Печать — издательство «МЕРКУР»

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
«22», Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440.
Телефон редакции — 03-7394525

Электронный адрес: <http://folding.tierranet.com/22>

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству «Москва — Иерусалим» и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле — 120 шек., для организаций — 130 шек., за рубежом — 80 долларов (авиапочтой в Европу — 90, в США — 95 долларов), для организаций — 100 долларов (включая пересылку).

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране — 90 шекелей (с рассрочкой в два платежа)).

*Отвергнутые рукописи не возвращаются
и в переписку по их поводу редакция не вступает.*

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №
Прилагаю чек (чеки) № на сумму
Журнал прошу выслать по адресу

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала

(фамилия)

Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я 44050

